

БИБЛИОТЕКА  
ПРОЕКТА

*БОРИСА АКУНИНА*

ИСТОРИЯ  
РОССИЙСКОГО  
ГОСУДАРСТВА

---

РУСЬ  
В «БУНТАШНЫЙ ВЕК»

◆

Библиотека проекта Б. Акунина  
«История Российского государства»

Сергей Соловьев

**Русь в «Бунташный  
век» (сборник)**

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Соловьев С. М.**

Русь в «Бунташный век» (сборник) / С. М. Соловьев — «АСТ», 2017 — (Библиотека проекта Б. Акунина «История Российского государства»)

ISBN 978-5-17-101619-7

Библиотека проекта «История Российского государства» — это рекомендованные Борисом Акуниным лучшие памятники исторической литературы, в которых отражена биография нашей страны от самых ее истоков. Острые внутренние кризисы и длительные войны в России на рубеже XVI–XVII веков были порождены во многом незавершенностью процесса государственной централизации, отсутствием необходимых условий для нормального развития страны. Великие российские историки Н.М. Карамзин, С.М. Соловьев и В.О. Ключевский по-разному оценивали события, происходившие в стране, но все они единодушно утверждали, что переломным стал 1612 год.

УДК 821.161.1-311.6  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-101619-7

© Соловьев С. М., 2017  
© АСТ, 2017

## Содержание

Николай Михайлович Карамзин	6
Царствование Феодора Борисовича Годунова. 1605 г	6
Царствование Лжедмитрия. 1605–1606 гг	17
Царствование Василия Иоанновича Шуйского. 1606–1608 гг	62
Конец ознакомительного фрагмента.	69

**Николай Михайлович Карамзин,  
Сергей Михайлович Соловьев,  
Василий Осипович Ключевский  
Русь в «Бунташный век» (сборник)**

© В.Аkunin, 2017

© ООО «Издательство АСТ», 2017

## Николай Михайлович Карамзин

### Царствование Феодора Борисовича Годунова. 1605 г

Еще россияне погребли Бориса с честью во храме Св. Михаила, между памятниками своих венценосцев варяжского племени; еще духовенство льстило ему и в могиле: святители в окружных грамотах к монастырям писали о беспорочной и праведной душе его, мирно отшедшей к Богу! Еще все, от патриарха и синклита до мещан и земледельцев, с видом усердия присягнули «царице Марии и детям ее, царю Феодору и Ксении, обязываясь страшными клятвами не изменять им, не умышлять на их жизнь и не хотеть на государство московское ни бывшего великого князя тверского, слепца Симеона, ни злодея, именующего себя Димитрием; не избегать царской службы и не бояться в ней ни трудов, ни смерти». Достигнув венца злодейством, Годунов был однако ж царем законным: сын естественно наследовал права его, утвержденные двукратною присягою, и как бы давал им новую силу прелестию своей невинной юности, красоты мужественной, души равно твердой и кроткой; он соединял в себе ум отца с добродетелию матери и шестнадцати лет удивлял вельмож даром слова и сведениями необыкновенными в тогдашнее время: первым счастливым плодом европейского воспитания в России; рано узнал и науку правления, отроком заседал в Думе; узнал и сладость благодеяния, всегда употребляемый родителем в посредники между законом и милостию. Чего нельзя было ожидать государству от такого венценосца? Но тень Борисова с ужасными воспоминаниями омрачала престол Феодоров: ненависть к отцу препятствовала любви к сыну. Россияне ждали только бедствий от злого племени, в их глазах опального пред Богом, и страшась быть жертвою Небесной казни за Годунова, не устрашились подвергнуться сей казни за преступление собственное: за вероломство, осуждаемое уставом Божественным и человеческим.

Еще Феодор, столь юный, имел нужду в советниках: мать его блистала единственно скромными добродетелями своего пола. Немедленно велели трем знатнейшим боярам, князьям Мстиславскому, Василию и Дмитрию Шуйским, оставить войско и быть в Москву, чтобы правительствовать в синклите; возвратили свободу, честь и достояние славному Вольскому, чтобы также пользоваться его умом и сведениями в Думе. Но всего важнее было избрание главного воеводы: искали уже не старейшего, а способнейшего, и выбрали – Басманова, ибо не могли сомневаться ни в его воинских дарованиях, ни в верности, доказанной делами блестящими. Юный Феодор в присутствии матери сказал ему с умилением: «служи нам, как ты служил отцу моему», – и сей честолюбец, пылая (так казалось) чувством усердия, клялся умереть за царя и царицу! Басманову дали в товарищи одного из знатнейших бояр, князя Михаила Катырева-Ростовского, доброго и слабодушного. Послали с ними и митрополита новгородского, Исидора, чтобы войско в его присутствии целовало крест на имя Феодора.



*В.П. Верещагин.* Царь Федор Борисович Годунов. 1605 г. «История государства Российского в изображении державных его правителей с кратким пояснительным текстом». 1896 г.

Несколько дней прошло в тишине для столицы. Двор и народ торжественно молились о душе царя усопшего; гораздо искреннее молились истинные друзья отечества о спасении государства, предвидя бурю. С нетерпением ждали вестей из кромского стана – и первые донесения новых воевод казались еще благоприятными.

Невидимо держа в руке судьбу отечества, Басманов 17 апреля прибыл в стан и не нашел там уже ни Мстиславского, ни Шуйских; созвал всех, чиновников и рядовых, под знамена; известил их о воцарении Феодора и прочитал им грамоты его, весьма милостивые: юный монарх обещал верному, усердному войску беспримерные награды после сорочин Борисовых. Сильное внутреннее движение обнаружилось на лицах: некоторые плакали о царе усопшем, боясь за Россию; другие не таили злой радости. Но войско, подобно Москве, присягнуло Феодору. С сим известием митрополит Исидор возвратился в столицу: сам Басманов доносил о том... а через несколько дней узнали его измену!

Удивив современников, дело Басманова удивляет и потомство. Сей человек имел душу, как увидим в роковой час его жизни; не верил Самозванцу; столь ревностно обличал его и столь мужественно разил его под стенами Новагорода Северского; был осыпан милостями Бориса, удостоен всей доверенности Феодора, избран в спасители царя и царства, с правом на их благодарность беспредельную, с надеждою оставить блестящее имя в летописях – и пал к ногам расстриги в виде гнусного предателя! Изъясним ли такое непонятное действие худым расположением войска? Скажем ли, что Басманов, предвидя неминуемое торжество Самозванца, хотел ускорением измены спасти себя от уничтожения: хотел лучше отдать и войско и царство обманщику, нежели быть выданным ему мятежниками? Но полки еще кля-

лися именем Божиим в верности Феодору: какую новую ревностью мог бы одушевить их воевода, силою своего духа и закона обуздав зломысленников? Нет, верим сказанию летописца, что не общая измена увлекла Басманова, но Басманов произвел общую измену войска.

Сей честолюбец без правил чести, жадный к наслаждениям временщика, думал, вероятно, что гордые, завистливые родственники Феодоровы никогда не уступят его ближайшего места к престолу, и что Самозванец безродный, им (Басмановым) возведенный на царство, естественно будет привязан благодарностию и собственною пользою к главному виновнику своего счастья: судьба их делалась нераздельною – и кто мог затмить Басманова достоинствами личными? Он знал других бояр и себя: не знал только, что сильные духом падают как младенцы на пути беззакония! Басманов, вероятно, не дерзнул бы изменить Борису, который действовал на воображение и долговременным повелительством и блеском великого ума государственного: Феодор, слабый юностию лет и новостью державства, вселял смелость в предателя, вооруженного суемудрием для успокоения сердца: он мог думать, что изменою спасает Россию от ненавистной олигархии Годуновых, вручая скипетр хотя и Самозванцу, хотя и человеку низкого происхождения, но смелому, умному, другу знаменитого венценосца польского, и как бы избранному Судьбою для совершения достойной мести над родом святоубийцы; мог думать, что направит Лжедмитрия на путь добра и милости: обманет Россию, но загладит сей обман – ее счастьем!

Может быть, Басманов выехал из столицы еще в нерешимости, готовый действовать по обстоятельствам, для выгод своего честолюбия; может быть, он решился на измену единственно тогда, как увидел преклонность и воевод и войска к обманщику. Все целовали крест Феодору (ибо никто не дерзнул быть первым мятежником), но большею частию с нехотением или унынием. И те, которые дотоле не верили мнимому Дмитрию, стали верить ему, будучи поражены незапною смертию Годунова и находя в ней новое доказательство, что не Самозванец, а действительно наследник Иоаннов требует своего законного достояния: ибо Всевышний – как они думали – несомнительно благоволит о нем и ведет его, чрез могилу хищника, на царство.



Медаль «Царь Федор Борисович Годунов». Серебро. Конец XVIII – начало XIX века

Заметили также, что в присяге Феодоровой Самозванец не был именован Отрепьевым: слагали ее, вероятно, без умысла, написали единственно: клянемся не приставать к тому, кто именуется Дмитрием. «Следственно, – говорили многие, – сказка о беглом диаконе чудовском уже торжественно объявляется вымыслом. Кто же сей Дмитрий, если не истин-

ный?» Самые верные имели печальную мысль, что Феодору не удалось удержаться на престоле. Такое расположение умов и сердец обещало легкий успех измене: Басманов наблюдал, решил и, готовя Россию в дар обманщику, без сомнения удостоверился, посредством тайных сношений, в его благодарности.

Оставленный на свободе в Путивле, Лжедмитрий в течение трех месяцев укреплял свои города и вооружал людей; писал к Мнишку, что надеется на счастье более, нежели когда-нибудь; посылал дары к хану, желая заключить с ним союз; ждал новых сподвижников из Галиции и был усилен дружиною всадников, приведенных к нему Михаилом Ратомским, который уверял его, что вслед за ним будет и воевода сендомирский с королевскими полками. Но только смерть Борисова, только измена воевод царских могла исполнить дерзкую надежду расстриги: о первой сведал он в конце апреля от беглеца дворянина Бахметева; о второй в начале мая, вероятно, от самого Басманова – и с того времени знал все, что происходило в стане кромском.

Отдав честь мужа думного и славу знаменитого витязя за прелесть исключительного вельможства под скиптром бродяги, Басманов, уверенный в сей награде, уверил в ней и других низких самолюбцев: боярина князя Василия Васильевича Голицына, брата его, князя Ивана, и Михаила Глебовича Салтыкова, которые также не имели ни совести, ни стыда и также хотели быть временщиками нового царствования в воздаяние за гнусное злодейство. Но и злодеи ищут благовидных предлогов в своих ковах: обманывая друг друга, лицемеры находили в Лжедмитрии все признаки истинного, добродетели царские и свойства души высокой; дивились чудесной судьбе его, ознаменованной Перстом Божиим; злословили царство Годуновых, снисканное лукавством и беззаконием; оплакивали бедствие войны междоусобной и кровопролитной, необходимой для удержания короны на слабой главе Феодоровой, и в торжестве расстриги видели пользу, тишину, счастье России. Они условились в предательстве и спешили действовать.

Еще несколько дней коварствовали втайне, умножая число надежных единомышленников (между коими отличались ревностью боярские дети городов Рязани, Тулы, Коширы, Алексина); успокаивали совесть людей малоумных, недаленовидных, твердя и повторяя, что для россиян одна присяга законная: данная ими Иоанну и детям его; что новейшие, взятые с них на имя Бориса и Феодора, суть плод обмана и недействительны, когда сын Иоаннов не умирал и здравствует в Путивле.

Наконец, 7 мая, заговор открылся: ударили тревогу; Басманов сел на коня и громко объявил Дмитрия царем московским. Тысячи воскликнули, и рязанцы первые: «Да здравствует же отец наш, государь Дмитрий Иоаннович!» Другие еще безмолвствовали в изумлении. Тогда единственно проснулись воеводы верные, обманутые коварством Басманова: князя Михаила Катырев-Ростовский, Андрей Телятевский, Иван Иванович Годунов; но поздно! Видя малое число усердных к Феодору, они бежали в Москву, вместе с некоторыми чиновниками и воинами, россиянами и чужеземцами: их гнали, били; настигли Ивана Годунова и связанного привели в стан, где войско в несчастном заблуждении торжествовало измену как светлый праздник отечества. Никто не смел изъявить сомнения, когда знаменитейший противник Самозванца, Герой Новагорода-Северского, уже признал в нем сына Иоаннова – и радость, видеть снова на троне древнее племя царское, заглушала упреки совести для обольщенных вероломцев!.. В сей памятный беззаконием день первенствовал Басманов дерзким злодейством, а другой изменник подлым лукавством: князь Василий Голицын велел связать себя, желая на всякий случай уверить Россию, что предается обманщику невольно!

Нарушив клятву, войско с знаками живейшего усердия обязалось другою: изменив Феодору, быть верным мнимому Дмитрию, и дало знать атаману Кореле, что они служат уже одному государю. Война прекратилась: кромские защитники выползли из своих нор и

братски обнимались с бывшими неприятелями на валу крепости; а князь Иван Голицын спешил в Путивль, уже не к царевичу, а к царю, с повинною от имени войска и с узником Иваном Годуновым в залог верности. Лжедмитрий имел нужду в необыкновенной душевной силе, чтобы скрыть свою чрезмерную радость: важно, величаво сидел на троне, когда Голицын, провождаемый множеством сановников и дворян, смиренно бил ему челом, и с видом благоговения говорил так: «Сын Иоаннов! Войско вручает тебе державу России и ждет твоего милосердия. Обольщенные Борисом, мы долго противились нашему царю законному: ныне же, узнав истину, все единодушно тебе присягнули. Иди на престол родительский; царствуй счастливо и многие лета! Враги твои, клеветы Борисовы, в узах. Если Москва дерзнет быть строптивою, то смирим ее. Иди с нами в столицу, венчаться на царство!..»

В сей самый час, по известию летописца, некоторые дворяне московские, смотря на Лжедмитрия, узнали в нем диакона Отрепьева: содрогнулись, но уже не смели говорить и плакали тайно. Хитро представляя лицо монарха великодушного, тронутого раскаянием виновных подданных, счастливый обманщик не благодарил, а только простил войско; велел ему идти к Орлу и сам выступил туда 19 мая из Путивля с 600 ляхов, с донцами и своими россиянами, старейшими других в измене; хотел видеть развалины Кром, прославленные мужеством их защитников, и там, оглядев пепелище, вал, землянки козаков и необозримый, укрепленный стан, где в течение шести недель более восьмидесяти тысяч добрых воинов за семидесятью огромными пушками укрывались в бездействии, изъявил удивление и хвалился чудом Небесной к нему милости. Далее на пути встретили расстригу воеводы Михаила Салтыков, князь Василий Голицын, Шереметев и глава предательства Басманов... сей последний с искреннею клятвою умереть за того, кому он жертвовал совестью и бедным отечеством! Единодушно принятый войском как царь благодатный, Лжедмитрий распустил часть его на месяц для отдохновения, другую послал к Москве, а сам с двумя или тремя тысячами надежнейших сподвижников шел тихо вслед за нею.



Путивль. Фото начала XX века

Везде народ и люди воинские встречали его с дарами; крепости, города сдавались: из самой отдаленной Астрахани привезли к нему в цепях воеводу Михаила Сабурова, ближнего родственника Феодорова. Только в Орле горсть великодушных не хотела изменить закону: сих достойных россиян, к сожалению, не известных для истории, ввергнул и в темницу. Все другие ревностно преклоняли колена, славили Бога и Димитрия, как некогда Героя Донского или завоевателя Казани! На улицах, на дорогах теснились к его коню, чтобы лобызать ноги Самозванца! Все было в волнении, не ужаса, но радости. Исчез оплот стыда и страха для измены: она бурною рекою стремилась к Москве, неся с собою гибель царю и народной чести. Там первыми вестниками злополучия были беглецы добросовестные, воеводы Катырев-Ростовский и Телятевский с их дружинами. Феодор, еще пользуясь царскою властью, изъявил им благодарность отечества торжественными наградами – и как бы спокойно ждал своего жребия на бедственном троне, видя вокруг себя уже не многих друзей искренних, отчаяние, недоумение, притворство, а в народе еще тишину, но грозную: готовность к великой перемене, тайно желаемой сердцами.

Может быть, зломыслие и лукавство некоторых думных советников, благоприятствуя Самозванцу, усыпляли жертву накануне ее заклания: обманывали Феодора, его мать и ближних, уменьшая опасность или предлагая меры недействительные для спасения. Власть верховная дремала в палатах Кремлевских, когда Отрепьев шел к столице, – когда имя Димитрия уже гремело на берегах Оки, – когда на самой Красной площади толпился народ, с жадно-

стию слушая вести о его успехах. Еще были воеводы и воины верные: юный стратиг державный в виде Ангела красоты и невинности, еще мог бы смело идти с ними на сонмы ослепленных клятвопреступников и на подлого расстригу: в деле законном есть сила особенная, непонятная и страшная для беззакония. Но если не коварство, то чудное оцепенение умов предавало Москву в мирную добычу злодейству. Звук оружия и движения ратные могли бы дать бодрость унылым и страх изменникам; но спокойствие, ложное, смертоносное, господствовало в столице и служило для козней вождельным досугом.

Деятельность правительства оказывалась единственно в том, что ловили гонцов с грамотами от войска и Самозванца к московским жителям: грамоты жгли, гонцов сажали в темницу; наконец не устерегли – и в один час все совершилось!

Лжедмитрий, угадывая, что его письма не доходят до Москвы, избрал двух сановников смелых, расторопных, Плещеева и Пушкина: дал им грамоту и велел ехать в Красное село, чтобы возмутить тамошних жителей, а чрез них и столицу. Сделалось, как он думал. Купцы и ремесленники красносельские, плененные доверенностью мнимого Дмитрия, присягнули ему с ревностию и торжественно ввели гонцов его (1 июня) в Москву, открытую, безоружную: ибо воины, высланные царем для усмирения сих мятежников, бежали назад, не обнажив меча; а красносельцы, славя Дмитрия, нашли множество единомышленников в столице, мещан и людей служивых; других силою увлекли за собою; некоторые пристали к ним только из любопытства. Сей шумный сонм стремился к лобному месту, где, по данному знаку, все умолкло, чтобы слушать грамоту Лжедмитриеву к синклиту, к большим дворянам, сановникам, людям приказным, воинским, торговым, средним и черным.

«Вы клялися отцу моему, – писал расстрига, – не изменять его детям и потомству во веки веков, но взяли Годунова в цари. Не упрекаю вас: вы думали, что Борис умертвил меня в летах младенческих; не знали его лукавства и не смели противиться человеку, который уже самовластвовал и в царствование Феодора Иоанновича, – жаловал и казнил, кого хотел. Им обольщенные, вы не верили, что я, спасенный Богом, иду к вам с любовью и кротостию. Драгоценная кровь лилася... Но жалею о том без гнева: неведение и страх извиняют вас. Уже судьба решилась: города и войско мои. Дерзните ли на брань междоусобную в угодность Марии Годуновой и сыну ее? Им не жаль России: они не своим, а чужим владеют; упитали кровию землю Северскую и хотят разорения Москвы. Вспомните, что было от Годунова вам, бояре, воеводы и все люди знаменитые: сколько опал и бесчестия несносного? А вы, дворяне и дети боярские, чего не претерпели в тягостных службах и в ссылках? А вы, купцы и гости, сколько утеснений имели в торговле и какими неумеренными пошлинами отягощались? Мы же хотим вас жаловать беспримерно: бояр и всех мужей сановитых честию и новыми отчинами, дворян и людей приказных милостию, гостей и купцов льготою в непрерывное течение дней мирных и тихих. Дерзните ли быть непреклонными? Но от нашей царской руки не избудете: иду и сяду на престоле отца моего; иду с сильным войском, своим и литовским: ибо не только россияне, но и чужеземцы охотно жертвуют мне жизнь. Самые неверные ногаи хотели следовать за мною: я велел им остаться в степях, щадя Россию. Страшитесь гибели, временной и вечной; страшитесь ответа в день суда Божия: смиритесь, и немедленно пришлите митрополитов, архиепископов, мужей думных, больших дворян и дьяков, людей воинских и торговых бить нам челом, как вашему царю законному». Народ московский слушал с благоговением и рассуждал так: «Войско и бояре поддалися без сомнения не ложному Дмитрию. Он приближается к Москве: с кем стоять нам против его силы? с горстию ли беглецов кромских? с нашими ли старцами, женами и младенцами? и за кого? за ненавистных Годуновых, похитителей державной власти? Для их спасения предадим ли Москву пламени и разорению? Но не спасем ни их, ни себя сопротивлением бесполезным. Следственно не о чем думать: должно прибегнуть к милосердию Дмитрия!»

И в то время, когда сие незаконное вече располагало царством, главные советники престола трепетали в Кремле от ужаса. Патриарх молил бояр действовать, а сам, в смятении духа, не мыслил явиться на лобном месте в ризах святительских, с крестом в деснице, с благословением для верных, с клятвою для изменников: он только плакал! Знатнейшие бояре Мстиславский и Василий Шуйский, Бельский и другие думные советники вышли из Кремля к гражданам, сказали им несколько слов в увещание и хотели схватить гонцов Лжедмитриевых: народ не дал их и завопил: «Время Годуновых миновалось! Мы были с ним во тьме кромешной: солнце восходит для России! Да здравствует царь Димитрий! Клятва Борисовой памяти! Гибель племени Годуновых!» С сим воплем толпы ринулись в Кремль. Стража и телохранители исчезли вместе с подданными для Феодора: действовали одни буйные мятежники; вломилась во дворец и дерзостною рукою коснулись того, кому недавно присягали: стащили юного царя с престола, где он искал безопасности! Мать злосчастная упала к ногам неистовых и слезно молила не о царстве, а только о жизни милого сына!

Но мятежники еще страшились быть извергами: безвредно вывели Феодора, его мать и сестру из дворца в Кремлевский собственный дом Борисов и там приставили к ним стражу; всех родственников царских, Годуновых, Сабуровых, Вельяминовых, заключили, имение их расхитили, дома сломали; не оставили ничего целого и в жилище иноземных медиков, любимцев Борисовых; хотели грабить и погребка казенные, но удержались, когда Вольский напомнил им, что все казенное уже есть Димитриево. Сей пестун меньшого Иоаннова сына явился тогда вдруг главным советником народа, как злейший враг Годуновых, и вместе с другими боярами, малодушными или коварными, старался утишить мятеж именем царя нового. Все дали присягу Димитрию, и (3 июня) вельможи, князя Иван Михайлович Воротынский, Андрей Телятевский, Петр Шереметев, думный дьяк Власьев и другие знатнейшие чиновники, дворяне, граждане выехали из столицы с повинною к Самозванцу в Тулу. Уже вестник Плещеева и Пушкина предупредил их; уже расстрига знал все, что сделалось в Москве, и еще не был спокоен: послал туда князя Василья Голицына Мосальского и дьяка Сутупова с тайным наказом, а Петра Басманова с воинскою дружиною, чтобы мерзостным злодейством увенчать торжество беззакония.



*К.Е. Маковский. Агенты Дмитрия Самозванца убивают сына Бориса Годунова. 1862 г.*

Сии достойные слуги Лжедмитриевы, принятые в Москве как полновластные исполнители царской воли, начали дело свое с патриарха. Слабодушным участием в кознях Борисовых лишив себя доверенности народной, не имев мужества умереть за истину и за Феодора, онемев от страха и даже, как уверяют, вместе с другими святителями бив челом Самозванцу, надеялся ли Иов снискать в нем срамную милость? Но Лжедмитрий не верил его бесстыдству; не верил, чтобы он мог с видом благоговения возложить царский венец на своего беглого диакона – и для того послы Самозванцевы объявили народу московскому, что

раб Годуновых не должен остаться первосвятителем. Свергнув царя, народ во дни беззакония не усомнился свергнуть и патриарха. Иов совершал литургию в храме Успения: вдруг мятежники неистовые, вооруженные копьями и дреколием, вбегают в церковь; не слушают божественного пения; стремятся в алтарь, хватают и влекут патриарха; рвут с него одежду святительскую... Тут несчастный Иов изъявил и смирение и твердость: сняв с себя панагию и положив ее к образу Владимирской Богоматери, сказал громогласно: «Здесь, пред сею святою иконою, я был удостоен сана архиерейского и девятнадцать лет хранил целостность веры: ныне вижу бедствие церкви, торжество обмана и ереси. Мать Божия! спаси православие!» Его одели в черную ризу, таскали, позорили в храме, на площади и вывезли в телеге из города, чтобы заключить в монастыре Старицком. – Удалив важнейшего свидетеля истины, противного Самозванцу, решили судьбу Годуновых, Сабуровых и Вельяминовых: отправили их скованных в темницы городов дальних, низовых и сибирских (ненавистного Семена Годунова задавили в Переславле). Немедленно решили и судьбу державного семейства.

Юный Феодор, Мария и Ксения, сидя под стражею в том доме, откуда властолюбие Борисово извлекло их на феатр гибельного величия, угадывали свой жребий. Народ еще уважал в них святость царского сана, – может быть, и святость непорочности; может быть, в самом неистовстве бунта желал, чтобы мнимый Димитрий оказал великодушие и, взяв себе корону, оставил жизнь несчастным хотя в уединении какого-нибудь монастыря пустынного. Но великодушие в сем случае казалось расстриге несогласным с политикою: чем более достоинств личных имел сверженный, законный царь, тем более он мог страшить лжецаря, возводимого на престол злодейством некоторых и заблуждением многих; успех измены всегда готовит другую – и никакая пустыня не скрыла бы державного юношу от умиления россиян. Так, вероятно, думал и Басманов; однако ж не хотел явно участвовать в деле ужасном: зло и добро имеют степени! Другие были смелее: князя Голицын и Мосальский, чиновники Молчанов и Шереметевы, взяв с собою трех зверовидных стрельцов, 10 июня пришли в дом Борисов: увидели Феодора и Ксению сидящих спокойно подле матери в ожидании воли Божией; вырвали нежных детей из объятий царицы, развели их по особым комнатам и велели стрельцам действовать: они в ту же минуту удавили царицу Марию; но юный Феодор, наделенный от природы силою необыкновенною, долго боролся с четырьмя убийцами, которые едва могли одолеть и задушить его.



*Н.П. Шаховской. Последние минуты семьи Годуновых. Конец XIX века*

Ксения была несчастнее матери и брата: осталась жива: гнусный сластолюбец расстрига слышал о ее прелестях и велел князю Мосальскому взять ее к себе в дом. Москве объявили, что Феодор и Мария сами лишили себя жизни ядом; но трупы их, дерзостно выставленные на позор, имели несомнительные признаки удушения. Народ толпился у бедных гробов, где лежали две венценосные жертвы, супруга и сын властолюбца, который обожал – и погубил их, дав им престол на ужас и смерть лютейшую! «Святая кровь Димитриева, – говорят летописцы, – требовала крови чистой, и невинные пали за виновного, да страшатся преступники и за своих ближних!» Многие смотрели только с любопытством, но многие и с умилением; жалели о Марии, которая, быв дочерью гнуснейшего из палачей Иоанновых и женою святоубийцы, жила единственно благодеяниями, и коей Борис не смел никогда открывать своих злых намерений; еще более жалели о Феодоре, который цвел добродетелию и надеждою: столько имел и столько обещал прекрасного для счастья России, если бы оно угодно было Провидению! – Нарушили и спокойствие могил: выкопали тело Борисово, вложили в раку деревянную, перенесли из церкви Св. Михаила в девичий монастырь Св. Варсонофия на Сретенке и погребли там уединенно вместе с телами Феодора и Марии!

Так совершилась казнь Божия над убийцею Димитрия истинного, и началась новая над Россию под скиптром ложного!

## Царствование Лжедмитрия. 1605–1606 гг

Нелепою дерзостью и неслыханным счастьем достигнув цели – каким-то обаянием прельстив умы и сердца вопреки здравому смыслу – сделав, чему нет примера в истории: из беглого монаха, козака-разбойника и слуги пана литовского в три года став царем великой державы. Самозванец казался хладнокровным, спокойным, не удивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования: там собралось более ста тысяч людей воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений.

Вслед за князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом расстриге от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие думные мужи: Мстиславский, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия: презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в тульском дворце у Лжедмитрия козаки, новые донские выходцы (Смага Чертенский с товарищами): он дал руку им первым, и с ласкою; а боярам уже после, и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые козаки в присутствии Самозванца нагло ругали сих вельмож уничиженных, особенно князя Андрея Телятевского, доле других верного закону.

Вельможи представили Лжедмитрию печать государственную, ключи от казны Кремлевской, одежды, доспехи царские и сонм царедворцев для услуг его. Уже началось державство расстриги, который, по внушению ли собственного ума или советников, немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек рожденный на престоле, и с навыком власти: 11 июня [1605 г.], еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый невидимою силою от злодея Бориса и дозрев до мужества, правом наследия сел на государстве Московском; что духовенство, синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием; что воеводы городские должны немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя царицы-матери, инокини Марфы Феодоровны, и его, царя Димитрия, с обязательством служить им верно и не давать отравы, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, Федькою, ни с кем из Годуновых; не мстить никому, не убивать никого без указа государева, жить в тишине и мире, а на службе прямить и мужествовать неизменно. Уже Самозванец занимался и делами внешними: велел догнать посла английского, Смита, еще не выехавшего из России; взять у него Борисовы письма к королю и сказать ему, что новый царь, в знак особенного дружества к Англии, даст ее купцам новые выгоды в торговле и немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.



Лжедмитрий I. Иллюстрация из альбома Д.А. Ровинского «Достоверные портреты московских государей Ивана III, Василия Ивановича и Ивана IV Грозного и посольств их времени»

Узнав, что воля его исполнилась: патриарх свержен, Феодор и Мария в могиле, их ближние изгнаны, Москва спокойна и с нетерпением ждет воскресшего Дмитрия, – Самозванец выступил из Тулы и 16 июня расположился станом на лугах Москвы-реки, у села Коломенского, где все чиновники и знатнейшие граждане поднесли ему хлеб-соль, златые кубки и соболей, а бояре великолепнейшую утварь царскую и говорили с видом единодушного усердия: «Иди и владей достоянием твоих предков. Святые храмы, Москва и чертоги

Иоанновы ожидают тебя. Уже нет злодеев: земля поглотила их. Настало время мира, любви и веселия».

Лжедимитрий отвечал, что забывает вины детей и будет не грозным владыкою, а ласковым отцом России. Тут же явились и немцы с челобитною: быв до конца верны Борису, оказав мужество в двух битвах, не хотев участвовать и в измене воевод под Кромами, они молили Самозванца не вменять им дела добросовестного в преступление и писали: «мы честно исполнили долг присяги и как служили Борису, так готовы служить и тебе, уже царю законному». Лжедимитрий принял их начальников весьма милостиво и сказал: «Будьте для меня то же, что вы были для Годунова: я верю вам более, нежели своим русским!» Он хотел видеть немецкого чиновника, державшего знамя в Добрынской битве, и, положив ему руку на грудь, славил его неустрашимость: чего не могли слушать россияне с удовольствием; но они должны были изъявлять радость!

20 июня, в прекрасный летний день, Самозванец вступил в Москву, торжественно и пышно. Впереди поляки, литаврщики, трубачи, дружина всадников с копьями, пищальники, колесницы, заложенные шестернями и верховые лошади царские, богато украшенные; далее барабанщики и полки россиян, духовенство с крестами и Лжедимитрий на белом коне, в одежде великолепной, в блестящем ожерелье, ценою в 150 тысяч червонных: вокруг его шестьдесят бояр и князей; за ними дружина литовская, немцы, козаки и стрельцы. Звонили во все колокола московские. Улицы были наполнены бесчисленным множеством людей; кровли домов и церквей, башни и стены также усыпаны зрителями. Видя Лжедимитрия, народ падал ниц с восклицанием: «Здравствуй отец наш, государь и великий князь Димитрий Иоаннович, спасенный Богом для нашего благоденствия! Сияй и красуйся, о солнце России!»

Лжедимитрий всех громко приветствовал и называл своими добрыми подданными, веля им встать и молиться за него Богу. Невзирая на то, он еще не верил москвитянам: ближние чиновники его скакали из улицы в улицу и непрестанно доносили ему о всех движениях народных: все было тихо и радостно.

Но вдруг, когда Лжедимитрий чрез Живой мост и ворота Москворецкие выехал на площадь, сделался страшный вихрь: всадники едва могли усидеть на конях; пыль взвилась столбом и заслепила им глаза, так что царское шествие остановилось. Сей случай естественный поразил воинов и граждан; они крестились в ужасе, говоря друг другу: «Спаси нас, Господи, от беды! Это худое предзнаменование для России и Димитрия!»

Тут же люди благочестивые были встревожены соблазном: когда расстрига, встреченный святителями и всем клиром московским на лобном месте, сошел с коня, чтобы приложиться к образам, литовские музыканты играли на трубах и били в бубны, заглушая пение молебна. Увидели и другую непристойность: вступив за духовенством в Кремль и в соборную церковь Успения, Лжедимитрий ввел туда и многих иноверцев, ляхов, венгров: чего никогда не бывало и что казалось народу осквернением храма. Так расстрига на самом первом шагу изумил столицу легкомысленным неуважением к святыне!.. Оттуда спешил он в церковь архистратига Михаила, где с видом благоговения преклонился на гроб Иоаннов, лил слезы и сказал: «О, родитель любезный! Ты оставил меня в сиротстве и гонении; но святыми твоими молитвами я цел и державствую!» Сие искусное лицедейство было не бесполезно: народ плакал и говорил: «то истинный Димитрий!» Наконец расстрига в чертогах Иоанновых сел на престол государей московских.

В сей час многие вельможи вышли из дворца на Красную площадь к народу и с ними Богдан Вольский, который стал на лобное место, снял с груди своей образ Св. Николая, поцеловал его и клялся московским гражданам, что новый государь есть действительно сын Иоаннов, сохраненный и данный им Николаем Чудотворцем; убеждал россиян любить того, кто возлюблен Богом, и служить ему верно. Народ отвечал единогласно: «Многие

лета государю нашему Димитрию! Да погибнут враги его!» Торжество казалось искренним, общим. Самозванец с вельможами и духовенством пировал во дворце, граждане на площадях и дома; пили и веселились до глубокой ночи. «Но плач был недалеко от радости, – говорит летописец, – и вино лилось в Москве пред кровию».

Объявили милости: Лжедимитрий возвратил свободу, чины и достояние не только Нагим, мнимым своим родственникам, но и всем опальным Борисова времени: страдальца Михаила Нагого пожаловал в сан великого конюшего, брата его и трех племянников, Ивана Никитича Романова, двух Шереметевых, двух князей Голицыных, Долгорукого, Татеева, Куракина и Кашина в бояре; многих в окольничие, и между ими знаменитого Василья Щелкалова, удаленного от дел Борисом; князя Василья Голицына назвал великим дворецким, Бельского великим оружничим, князя Михаила Скопина-Шуйского великим мечником, князя Лыкова-Оболенского великим крайчим, Пушкина великим сокольничим, дьяка Сутопова великим секретарем и печатником, а Власьева также секретарем великим и надворным подскарбием, или казначеем, – то есть, кроме новых чинов, первый ввел в России наименования иноязычные, заимствованные от ляхов.

Лжедимитрий вызвал и невольного, опального инока Филарета из Сийской пустыни, чтобы дать ему сан митрополита Ростовского; сей добродетельный муж, некогда главный из вельмож и ближних царских, имел наконец сладостное утешение видеть тех, о коих и в жизни отшельника тосковало его сердце: бывшую супругу свою и сына. С того времени инокия Марфа и юный Михаил, отданный ей на воспитание, жили в епархии Филаретовой близ Костромы в монастыре Св. Ипатия, где все напоминало непрочную знаменитость и разительное падение их личных злодеев: ибо сей монастырь в XIV веке был основан предком Годуновых мурзою Четом и богато украшен ими.



*А.П. Боголюбов. Ипатьевский монастырь близ Костромы. 1861 г.*

Странное пугалище воображения Борисова, мнимый царь и великий князь Иоаннова времени Симеон Бекбулатович, ослепленный, как уверяют, и сосланный Годуновым, также удостоился Лжедимитриева благоволения в память Иоанну: ему велели быть ко двору, оказали великую честь и дозволили снова именоваться царем. Сняли опалу с родственников

Борисовых и дали им места воевод в Сибири и в других областях дальних. Не забыли и мертвых: тела Нагих и Романовых, усопших в бедствии, вынули из могил пустынных, перевезли в Москву и схоронили с честью там, где лежали их предки и ближние.

Угодив всей России милостями к невинным жертвам Борисова тиранства, Лжедмитрий старался угодить ей и благодеяниями общими: удвоил жалованье сановникам и войску; велел заплатить все долги казенные Иоаннова царствования, отменил многие торговые и судные пошлины; строго запретил всякое мздоимство и наказал многих судей бессовестных; обнародовал, что в каждую среду и субботу будет сам принимать челобитные от жалобщиков на Красном крыльце.

Он издал также достопамятный закон о крестьянах и холопах: указал всех беглых возвратить их отчинникам и помещикам, кроме тех, которые ушли во время голода, бывшего в Борисово царствование, не имея нужного пропитания; объявил свободными слуг, лишенных воли насилием, без крепостей внесенных в государственные книги. Чтобы оказать доверенность к подданным, Лжедмитрий отпустил своих иноземных телохранителей и всех ляхов, дав каждому из них в награду за верную службу по сороку золотых, деньгами и мехами, но тем не удовлетворив их корыстолюбиею: они хотели более, не выезжали из Москвы, жаловались и пировали!

Плененный обычаями той земли, где началась его жизнь пышная и где все казалось ему блестящим, превосходным в сравнении с Россиею, Лжедмитрий не удовольствовался введением новых чинов и наименований: он спешил, в духе сего подражания, изменить состав нашей древней Государственной думы: указал заседать в ней, сверх патриарха (что в важных случаях и дотоле бывало), четырьмя митрополитам, семью архиепископам и тремя епископам, надеясь, может быть, обольстить тем мирское честолюбие духовенства, а более всего желая следовать уставу Королевства Польского; назвал всех мужей думных сенаторами, умножил число их до семидесяти, сам ежедневно там присутствовал, слушал и решал дела, как уверяют, с необыкновенною легкостью.

Пишут, что он, имея дар краснословия, блистал им в совете, говорил много и складно, любил уподобления, часто ссылаясь на историю, рассказывал, что сам видел в иных землях, то есть в Литве и в Польше; изъявлял особенное уважение к королю французскому, Генрику IV; хвалился, подобно Борису, милосердием, кротостью, великодушием и твердил людям ближним: «Я могу двумя способами удержаться на престоле: тиранством и милостию; хочу испытать милость и верно исполнить обет, данный мною Богу: не проливать крови». Так говорил убийца непорочного Феодора и благодетельной Марии!..

Расстригу славил: московский Благовещенский протоиерей Терентий сочинил ему похвальное слово, как венценосцу доблему носящему на языке милость, а патриарх Иерусалимский униженною грамотою известил его, что вся Палестина ликует о спасении Иоаннова сына, предвидя в нем будущего своего избавителя, и что три лампы денно и ночью пылают над гробом Христовым во имя царя Димитрия.

Ближние люди Самозванца советовали ему, для утверждения своей власти, немедленно венчаться на царство: ибо многие думали, что и злосчастный Феодор не столь легко сделался бы жертвою измены, если бы успел освятить себя в глазах народа саном помазанника. Сей обряд торжественный надлежало совершить патриарху: не доверяя российскому духовенству, Лжедмитрий на место сверженного Иова выбрал чужеземца, грека Игнатия, архиепископа Кипрского, который, быв изгнан из отечества турками, жил несколько времени в Риме, приехал к нам в царствование Феодора Иоанновича, угодил Борису и с 1603 года правил епархией рязанскою. Он снискал милость Самозванца, встретив его еще в Туле; не имел ни чистой веры, ни любви к России, ни стыда нравственного и казался ему надежнейшим орудием для всех замышляемых им соблазнов. Наспех поставили Игнатия в патриархи и наспех готовились к царскому венчанию; а Лжедмитрий готовил между тем иное торжественное

явление, необходимое для полного удостоверения и Москвы и России, что венец Мономахов возлагается на главу Иоаннова сына.

Войско, синклит, все чины государственные признали обманщика Димитрием, все, кроме матери, которой свидетельство было столь важно и естественно, что народ без сомнения ожидал его с нетерпением. Уже Самозванец около месяца властвовал в Москве, а народ еще не видал царицы-инокини, хотя она жила только в пятистах верстах отсюда: ибо Лжедмитрий не мог быть уверен в ее согласии на обман, столь противный святому званию инокини и материнскому сердцу.

Тайные сношения требовали времени: с одной стороны, представили ей жизнь царскую, а с другой, муки и смерть; в случае упрямства, страшного для обманщика, могли задушить несчастную – сказать, что она умерла от болезни или радости, и великолепными похоронами мнимой государевой матери успокоить народ легковерный. Вдовствующая супруга Иоаннова, еще не старая летами, помнила удовольствия света, двора и пышности; тринадцать лет плакала в уничижении, страдала за себя, за своих ближних – и не усомнилась в выборе. Тогда Лжедмитрий уже гласно послал к ней в Выксинскую пустыню великого мечника князя Михаила Васильевича Скопина-Шуйского и других людей знатных с убедительным челобитьем нежного сына благословить его на царство – и сам, 18 июля, выехал встретить ее в селе Тайнинском.

Двор и народ были свидетелями любопытного зрелища, в коем лицемерное искусство имело вид искренности и природы. Близ дороги расставили богатый шатер, куда ввели царицу и где Лжедмитрий говорил с нею наедине – не знали, о чем; но увидели следствие: мнимые сын и мать вышли из шатра, изъявляя радость и любовь; нежно обнимали друг друга и произвели в сердцах многих зрителей восторг умиления. Добродушный народ обливался слезами, видя их в глазах царицы, которая могла плакать и нелицемерно, вспоминая об истинном Димитрии и чувствуя свой грех пред ним, пред совестью и Россиею!

Лжедмитрий посадил Марфу в великолепную колесницу; а сам с открытою головою шел несколько верст пешком, окруженный всеми боярами; наконец сел на коня, ускакал вперед и принял царицу в Иоанновых палатах, где она жила до того времени, как изготовили ей прекрасные комнаты в Вознесенском девичьем монастыре с особенною царскою службою.

Там Самозванец, в лице почтительного и нежного сына, ежедневно виделся с нею; был доволен искусным ее притворством, но удалял от нее всех людей сомнительных, чтобы она не имела случая изменить ему в важной тайне, от нескромности или раскаяния.

21 июля совершилось венчание с известными обрядами; но россияне изумились, когда, после сего священного действия, выступил иезуит Николай Черниковский, чтобы приветствовать нововенчанного монарха непонятною для них речью на языке латинском. Как обыкновенно, все знатнейшее духовенство, вельможи и чиновники пировали в сей день у царя, сиюсь наперерыв оказывать ему усердие и радость – но уже многие лицемерно, ибо общее заблуждение не продолжилось!

Первым врагом Лжедмитрия был сам он, легкомысленный и вспыльчивый от природы, грубый от худого воспитания, – надменный, безрассудный и неосторожный от счастья. Удивляя бояр острою и живостию ума в делах государственных, державный прощлец часто забывался: оскорблял их своими насмешками, упрекал невежеством, дразнил хвалою иноземцев и твердил, что россияне должны быть их учениками, ездить в чужие земли, видеть, наблюдать, образоваться и заслужить имя людей. Польша не сходила у него с языка.

Он распустил своих иностранных телохранителей, но исключительно ласкал поляков, только им давал всегда свободный к себе доступ, с ними обходился дружески и советовался как с ближними; взял даже в тайные царские секретари двух ляхов Бучинских. Российские вельможи, изменив закону и чести, лишились права на уважение, но хотели его от того, кому

они пожертвовали законом и честью: самолюбие не безмолвствует и в стыде и в молчании совести.



*Путер де Иоде.* Лжедмитрий. Подпись под портретом «Дмитрий Великий Князь Московский». Надпись на портрете «Действительный портрет Великого Князя Московии, убитого своими же подданными 18 мая 1606 года». Амстердам. 1606 г.

Только один россиянин от начала до конца пользовался доверенностью и дружбою Самозванца: всех виновнейший Басманов; но и сей несчастный ошибся: видел себя единственно любимцем, а не руководителем Лжедмитрия, который не для того искал престола, чтобы сидеть на нем всегдашним учеником Басманова: иногда спрашивался, иногда слушал его, но чаще действовал вопреки наставнику, по собственному уму или безумию. Грубостью огорчая бояр, Самозванец допускал их однако ж в разговорах с ним до вольности необыкновенной и несогласной с мыслями россиян о высоте царского сана, так что бояре, им не уважаемые, и сами уважали его менее прежних государей.

Самозванец скоро охладил к себе и любовь народную своим явным неблагоразумием. Снискав некоторые познания в школе и в обхождении с знатными ляхами, он считал себя мудрецом, смеялся над мнимым суеверием набожных россиян и, к великому их соблазну, не хотел креститься пред иконами; не велел также благословлять и кропить Святою водою царской трапезы, сядясь за обед не с молитвою, а с музыкою. Не менее соблазнялись россияне и благоволением его к иезуитам, коим он в священной ограде Кремлевской дал лучший дом и позволил служить латинскую Обедню.

Страстный к обычаям иноземным, ветреный Лжедмитрий не думал следовать русским: желал во всем уподобляться ляху, в одежде и в прическе, в походке и в телодвижениях; ел телятину, которая считалась у нас заповедным, грешным яством; не мог терпеть бани и никогда не ложился спать после обеда (как издревле делали все россияне от венценосца до мещанина), но любил в сие время гулять: украдкою выходил из дворца, один или сам-друг; бегал из места в место, к художникам, золотарям, аптекарям; а царедворцы, не зная, где царь, везде искали его с беспокойством и спрашивали о нем на улицах: чему дивились москвитяне, дотоле видав государей только в пышности, окруженных на каждом шагу толпою знатных сановников.

Все забавы и склонности Лжедмитриевы казались странными: он любил ездить верхом на диких бешеных жеребцах и собственною рукою, в присутствии двора и народа, бить медведей; сам испытывал новые пушки и стрелял из них в цель с редкою меткостью; сам учил воинов, строил, брал приступом земляные крепости, кидался в свалку и терпел, что иногда толкали его небрежно, сшибали с ног, давили – то есть хвалился искусством всадника, зверолова, пушкаря, бойца, забывая достоинство монарха. Он не помнил сего достоинства и в действиях своего нрава вспыльчивого: за малейшую вину, ошибку, неловкость выходил из себя и бивал палкою знатнейших воинских чиновников – а низость в государе противнее самой жестокости для народа.

Осуждали еще в Самозванце непомерную расточительность: он сыпал деньгами и награждал без ума; давал иноземным музыкантам жалованье, какого не имели и первые государственные люди; любя роскошь и великолепие, непрестанно покупал, заказывал всякие драгоценные вещи и месяца в три издержал более семи миллионов рублей – а народ не любит расточительности в государях, ибо страшится налогов.

Описывая тогдашний блеск московского двора, иноземцы с удивлением говорят о Лжедмитриевом престоле, вылитом из чистого золота, обвешенном кистями алмазными и жемчужными, утвержденном внизу на двух серебряных львах и покрытом крестообразно четырьмя богатыми щитами, над коими сиял золотой шар и прекрасный орел из того же металла. Хотя расстрига ездил всегда верхом, даже в церковь, но имел множество колесниц и саней, окованных серебром, обитых бархатом и соболями; на гордых азиатских его конях седла, узды, стремяна блистали золотом, изумрудами и яхонтами; возницы, конюхи царские одевались как вельможи. Не любя голых стен в палатах Кремлевских, находя их печальными и сломав деревянный дворец Борисов как памятник ненавистный, Самозванец построил для себя, ближе к Москве-реке, новый дворец, также деревянный, украсил стены шелковыми

персидскими тканями, цветные изразцовые печи серебряными решетками, замки у дверей яркою позолотою, и в удивление москвитянам пред сим любимым своим жилищем поставил изваянный образ адского стража, медного огромного Цербера, коего три челюсти от легкого прикосновения разверзались и бряцали: «чем Лжедмитрий, – как сказано в летописи, – предвестил себе жилище в вечности: ад и тьму кромешную!»

Действуя вопреки нашим обычаям и благоразумию, Лжедмитрий презирал и святейшие законы нравственности: не хотел обуздывать вожделий грубых и, пылая сластолюбием, явно нарушал уставы целомудрия и пристойности, как бы с намерением уподобиться тем мнимому своему родителю; бесчестил жен и девиц, двор, семейства и святые обители дерзостью разврата и не устыдился дела гнуснейшего из всех его преступлений: убив мать и брата Ксении, взял ее себе в наложницы. Красота сей несчастной царевны могла увянуть от горести; но самое отчаяние жертвы, самое злодейство неистовое казалось прелестию для изверга, который сим одним мерзостным бесстыдством заслужил свою казнь, почти сопредельную с торжеством его... Через несколько месяцев Ксению постригли, назвали Ольгою и заключили в пустыне на Белеозере, близ монастыря Кириллова.

Но Самозванец под личиною Дмитрия, вероятно, мог бы еще долго безумствовать и злодействовать в венце Мономаховом, если бы сия, как бы волшебная личина не спала с него в глазах народа: столь велико было усердие россиян к древнему племени державному! Заблуждение возвысило бродягу: истина долженствовала низвергнуть обманщика. Не один удаленный Иов знал беглеца чудовского в Москве: надеялся ли расстрига казаться другим человеком, стараясь казаться полуляхом и черную ризу инока пременив на царскую? Или, ослепленный счастьем, уже не видал для себя опасности, имея в руках своих власть с грозою и считая россиян стадом овец бессловесных? Или дерзостью мыслил уменьшить сию опасность, поколебать удостоверение, сомкнуть уста робкой истине?

Он не думал скрываться и смело смотрел в глаза всякому любопытному на улицах; не ходил только в святую обитель Чудовскую, место неприятных для него знакомств и воспоминаний. Итак, не удивительно, что в самом начале нового царствования, когда Москва еще гремела хвалою Дмитрия, уже многие люди шептали между собою о действительном сходстве его с диаконом Григорием; хвала умолкала от безрассудности и худых дел царя, а шепот становился внятнее – и скоро взволновал столицу. Первым уличителем и первую жертвою был инок, который сказал всенародно, что мнимый Дмитрий известен ему с детских лет под именем Отрепьева, учился у него грамоте и жил с ним в одном монастыре: инока тайно умертвили в темнице.



*Н.В. Неврев. Ксения Борисовна Годунова, приведенная к Самозванцу. 1882 г.*

Нашелся и другой, опаснейший свидетель истины – тот, кому судьба вручала месть праведную, но коего час еще не наступил: князь Василий Шуйский. В смятении ужаса признав бродягу царем, вместе с иными боярами, он менее всех мог извиняться заблуждением, ибо собственными глазами видел Иоаннова сына во гробе. Терзаясь ли горестию и стыдом или имея уже дальновидные тайные замыслы властолюбия, Шуйский недолго безмолвствовал в столице: сказал ближним, друзьям, приятелям, что Россия у ног обманщика; внушал и народу, чрез своих поверенных, купца Федора Конева и других, что Годунов и святитель Иов объявляли совершенную правду о Самозванце, еретике, орудии ляхов и папистов.

Еще Лжедмитрий имел многих ревностных слуг: Басманов узнал и донес ему о Семкове, опасном знатностию виновника. Взяли Шуйского с братьями под стражу и велели судить, как дотоле еще никого не судили в России: Собором, избранным людям всех чинов и званий. Летописец уверяет, что князь Василий в сем единственном случае жизни своей явил себя Героем: не отрицался: смело, великодушно говорил истину, к искреннему и лицемерному ужасу судей, которые хотели заглушить ее воплем, проклиная такие хулы на венценосца. Шуйского пытали: он молчал; не назвал никого из соумышленников и был один приговорен к смертной казни: братьев его лишали только свободы.

В глубокой тишине народ теснился вокруг лобного места, где стоял осужденный боярин (как бывало в Иоанново время!) подле секиры и плахи, между дружинами воинов, стрельцов и козаков; на стенах и башнях Кремлевских также блистало оружие для устрашения москвитян, и Петр Басманов, держа бумагу, читал народу от имени царского: «Великий боярин, князь Василий Иванович Шуйский, изменил мне, законному государю вашему, Димитрию Иоанновичу всея России; коварствовал, злословил, ссорил меня с вами, добрыми

подданными: называл лжецарем; хотел свергнуть с престола. Для того осужден на казнь: да умрет за измену и вероломство!»

Народ безмолвствовал в горести, издавна любя Шуйских, и пролил слезы, когда несчастный князь Василий, уже обнажаемый палачом, громко воскликнул к зрителям: «Братья! Умираю за истину, за Веру христианскую и за вас!» Уже голова осужденного лежала на плахе... Вдруг слышат крик: стой! и видят царского чиновника, скачущего из Кремля к лобному месту, с указом в руке: объявляют помилование Шуйскому!

Тут вся площадь закипела в неопisanном движении радости: славили царя, как в первый день его торжественного вступления в Москву; радовались и верные приверженники Самозванца, думая, что такое милосердие дает ему новое право на любовь общую; негодовали только дальновиднейшие из них, и не ошиблись: мог ли забыть Шуйский пытки и плаху? Узнали, что не ветреный Лжедмитрий вздумал тронуть сердца сим неожиданным действием великодушия, но что царица-инокия слезным молением убедила мнимого сына не казнить врага, который искал головы его!..

Совесть, вероятно, терзала сию несчастную пособницу обмана: спасая мученика истины, Марфа надеялась уменьшить грех свой пред людьми и Богом. Вместе с нею ходатайствовали за осужденного и некоторые ляхи, видя, сколь живое участие принимали москвитяне в судьбе его и желая снискать тем их благодарность. Всех трех Шуйских, князя Василия, Дмитрия, Ивана, сослали в пригороды галицкие; имение их описали, дома опустошили.

Тогда же разгласилось в Москве и свидетельство многих галичан, единоземцев и самых ближних Григория Отрепьева: дяди, брата и даже матери, добросовестной вдовы Варвары: они видели его, узнали и не хотели молчать. Их заключили; а дядю, Смирного-Отрепьева (в 1604 году ездившего к Сигизмунду для уличения племянника), сослали в Сибирь.



*А.Е. Земцов.* Помилование князя Василия Шуйского перед казнью

Схватили еще дворянина Петра Тургенева и мещанина Федора, которые явно возмущали народ против лжецаря. Самозванец велел казнить обоих торжественно и с удовольствием видел, что народ, благодарный ему за помилование Шуйского, не изъявил чувстви-

тельности к великодушию сих двух страдальцев; оба шли на смерть без ужаса и раскаяния, громогласно именуя Лжедмитрия Антихристом и любимцем Сатаны, жалея о России и предсказывая ей бедствие; чернь ругалась над ними, восклицая: «умираете за дело!»

С сего времени не умолкали доносы, справедливые и ложные, как в Борисово царствование: ибо Самозванец, дотоле желав хвалиться милосердием, уже следовал иным правилам: хотел грозою унять дерзость и для того благоприятствовал изветам. Пытали, казнили, душили в темницах, лишали имения, ссылали за слово о расстриге. По таким ли доносам, или единственно опасаясь нескромности своих старых приятелей, Лжедмитрий велел удалить многих чудовских иноков в другие, пустынные обители, хотя (что достойно замечания) оставил в покое Крутицкого митрополита Пафнутия, который с первого взгляда узнал в нем диакона Григория, быв в его время архимандритом сего монастыря, но, как вероятно, лицемерным или бессовестным изъявлением усердия к Самозванцу спас себя от гонения.

Молчали и другие в боязни, так что столица казалась тихою. Но расстрига сделался осторожнее и, явно не доверяя москвитянам, снова окружил себя иноплемениками: выбрал триста немцев в свои телохранители, разделил их на три особенные дружины под начальством капитанов: француза Маржерета, ливонца Кнутсена и шотландца Вандемана; одел весьма богато в камку и бархат; вооружил алебардами и протазанами, секирами и бердышами с золотыми орлами на древках, с кистями золотыми и серебряными; дал каждому воину, сверх поместья, от сорока до семидесяти рублей денежного жалованья – и с того времени уже никуда не ездил и не ходил один, всюду провождаемый сими грозными телохранителями, за коими только вдаль следовали бояре и царедворцы. Мера достойная бродяги, игрою Судьбы вознесенного на степень державства: триста иноземных секир и копий должны были спасать его от предполагаемой измены целого народа и полумиллиона воинов, бесполезно раздражаемых знаками недоверия обидного!

Между тем Лжедмитрий хотел веселья: музыка, пляска и зернь были ежедневно забавою двора. Угождая вкусу царя к пышности, все знатные и незнатные старались блистать одеждою богатою. Всякий день казался праздником. «Многие плакали в домах, а на улицах казались веселыми и нарядными женихами», – говорит летописец. Смиранный вид и смиренная одежда для людей небогих считались знаком худого усердия к царю веселому и роскошному, который сим призраком благосостояния желал уверить Россию в ее златом веке под державою обманщика.

Утишив, как он думал, Москву, Лжедмитрий спешил исполнить обет, данный его благодарностию, сердцем или политикою: предложить руку и венец Марине, которая любовью и доверенностию к бродяге заслуживала честь сидеть с ним на троне. Сношения между воеводою Сендомирским и нареченным его зятем не прерывались: Самозванец уведомлял Мнишка о всех своих успехах, называл всегда отцом и другом; писал к нему из Путивля, Тулы, Москвы; а воевода писал не только к Самозванцу, но и к боярам московским, требуя их признательности такими словами: «Способствовал счастью Дмитрия, я готов стараться, чтобы оно было и счастьем России, побуждаемый к сему моею всегдашнею к ней любовью и надеждою на вашу благодарность, когда вы увидите мое ревностное о вас ходатайство пред троном, и будете иметь новые выгоды, новые важные права, неизвестные доньше в Московском государстве».

Наконец (в сентябре месяце) Лжедмитрий послал великого секретаря и казначея Афанасия Власьева в Краков для торжественного сватовства, дав ему грамоту к Сигизмунду и другую от царицы-инокини Марфы к отцу невестину. Могли ли россияне одобрить сей брак с иноверкою, хотя и знатного, но не державного племени, – с удовольствием видеть спесивого пана тестем царским, ждать к себе толпу его ближних, не менее спесивых, и раболепно чтить в них свойство с венценосцем, который избранием чужеземной невесты оказывал презрение ко всем благородным россиянкам? Самозванец, вопреки обычаю, даже и не известил бояр о

сем важном деле: говорил, советовался единственно с ляхами. Но, легкомысленно досаждая россиянам, он в то же время не вполне удовлетворял и желаниям своих друзей иноземных.

Никто ревностнее нунция папского, Рангони, не служил обманщику: пышною грамотою приветствуя Лжедмитрия на троне, Рангони славил Бога и восклицал: мы победили! льстил ему хвалами неумеренными и надеялся, что соединение церквей будет первым из его дел бессмертных; писал: «Изображение лица твоего уже в руках Св. Отца, исполненного к тебе любви и дружества. Не медли изъявить свою благодарность Главе верных... и прими от меня дары духовные: образ сильного Воеводы, коего содействием ты победил и царствуешь; четки молитвенные и Библию латинскую, да услаждаешься ее чтением, и да будешь вторым Давидом».

Скоро прибыл в Москву и чиновник римский, граф Александр Рангони (племянник нунция) с апостольским благословением и с поздравительною грамотою от преемника Климентова, нетерпеливого в желании видеть себя главою нашей церкви; но Самозванец в учтивом ответе, хваляся чудесною к нему благодатию Божиею, истребившего злодея, отцеубийцу его, не сказал ни слова о соединении церквей: говорил только о великодушном своем намерении жить не в праздности, но вместе с императором идти на султана, чтобы стереть державу неверных с лица земли, убеждая Павла V не допускать Рудольфа до мира с турками: для чего хотел отправить в Австрию и собственного посла. Лжедмитрий писал и вторично к папе, обещая доставить безопасность его миссионариям на пути их и России в Персию и быть верным в исполнении данного ему слова; посылал и сам иезуита Андрея Лавицкого в Рим, но, кажется, более для государственного, нежели церковного дела: для переговоров о войне Турецкой, которую он действительно замышлял, пленяясь в воображении ее славою и пользою. Надменный счастьем, рожденный смелым и с любовью к опасностям, Самозванец в кружении легкой головы своей уже не был доволен государством Московским: хотел завоеваний и держав новых! Сия ревность еще сильнее вспылала в нем от донесения воевод терских, что их стрельцы и козаки одержали верх в сшибке с турками и что некоторые данники султанские в Дагестане присягнули России. Издавна проповедуя в Европе необходимость всеобщего восстания держав христианских на Оттоманскую, мог ли Рим не одобрить намерения Лжедмитриева?

Папа славил Царя-Героя, советуя ему только начать с ближайшего: с Тавриды, чтобы истреблением гнезда злодейского, столь бедоносного для России и Польши, отрезать крылья и правую руку у султана в войне с императором; однако ж имел причину не доверять ревности Самозванца к латинской церкви, видя, как он в письмах своих избегает всякого ясного слова о Законе. Кажется, что Самозванец охладел в усердии сделать россиян папистами: ибо, невзирая на свойственную ему безрассудность, усмотрел опасность сего нелепого замысла и едва ли бы решился приступить к исполнению оною, если бы и долее царствовал.

Скоро увидел и главный благодетель Лжедмитриев, Сигизмунд лукавый, что счастье и престол изменили того, кто еще недавно в восторге лобызал его руку, безмолвствовал и вздыхал пред ним, как раб униженный. Быв непосредственным виновником успехов Самозванца – оказав бродяге честь сына царского, дав ему деньги, воинов и тем склонив народ северский верить обману, – Сигизмунд весьма естественно ждал благодарности и, чрез секретаря своего, Госевского, приветствуя нового царя, нескромно требовал, чтобы Лжедмитрий выдал ему шведских послов, если они будут в Москву от мятежника Карла. Госевский, беседуя с царем наедине, объявил за тайну, что король встревожен молвою удивительною. «Недавно (говорил сей чиновник) выехал к нам из России один приказный, который уверяет, что Борис жив: уstraшенный твоими победами и следуя наставлению волхвов, он уступил державу сыну юному Феодору притворился мертвым и велел торжественно, вместо себя, схоронить другого человека, опоенного ядом; а сам, взяв множество золота, с ведома одной царицы и Семена Годунова бежал в Англию, называясь купцом. Поручив надежным людям

разведать в Лондоне, действительно ли укрывается там опасный злодей твой, Сигизмунд, как истинный друг, счел за нужное предостеречь тебя и, думая, что верность россиян еще сомнительна, дал указ нашим литовским воеводам быть в готовности для твоей защиты».

Сия сказка не испугала Лжедмитрия: он благодарил короля, но отвечал, что «в смерти Борисовой не сомневается; что готов быть недругом мятежнику шведскому, но прежде хочет удостовериться в искренней дружбе Сигизмунда, который, вопреки ласковым словам, уменьшает данное ему Богом достоинство» – ибо Сигизмунд в письме своем назвал его господарем и великим князем, а не царем. Самозванец же хотел не только сего титула, но и нового, пышнейшего: вздумал именовать себя цесарем и даже непобедимым, мечтая о своих будущих победах!

Узнав о таком гордом требовании, Сигизмунд изъявил досаду, и вельможные паны упрекали недавнего бродягу смешным высокоумием, злою неблагодарностию; а Лжедмитрий писал в Варшаву, что он не забыл добрых услуг Сигизмундовых, чтит его как брата, как отца; желает утвердить с ним союз, но не престанет требовать цесарского титула, хотя и не мыслит грозить ему за то войною. Люди благоразумные, особенно Мнишек и нунций папский, тщетно доказывали Самозванцу, что король называет его так, как государи польские всегда называли государей московских, и что Сигизмунду нельзя переменить сего обыкновения без согласия чинов республики. Другие же, не менее благоразумные люди думали, что республика не должна ссориться за пустое имя с хвастливым другом, который может быть ей орудием для усмирения шведов; но паны не хотели слышать о новом титуле, и воевода познанский сказал в гневе одному чиновнику российскому: «Бог не любит гордых, и непобедимому царю вашему не усидеть на троне».

Сей жаркий спор не мешал однако ж успеху в деле сватовства.

1 ноября великий посол царский, Афанасий Власьев, со многочисленною благородною дружиною приехал в Краков и был представлен Сигизмунду: говорил сперва о счастливом воцарении Иоаннова сына, о славе низвергнуть державу Оттоманскую, завоевать Грецию, Иерусалим, Вифлеем и Вифанию, а после о намерении Димитрия разделить престол с Мариною, из благодарности за важные услуги, оказанные ему, во дни его несгоды и печали, знаменитым ее родителем.

12 ноября, в присутствии Сигизмунда, сына его Владислава и сестры, шведской королевы Анны, совершилось торжественное обручение (воспетое в стихах пиндарических иезуитом Гроховским). Марина, с короною на голове, в белой одежде, унизанной камнями драгоценными, блистала равно и красотою и пышностию. Именем Мнишка сказав Власьеву (который заступал место жениха), что отец благословляет дочь на брак и царство, литовский канцлер Сапега говорил длинную речь, также и пан Ленчицкий и кардинал, епископ Краковский, славя «достоинства, воспитание и знатный род Марины, вольной дворянки государства вольного, – честность Димитрия в исполнении данного им обета, счастье России иметь законного, отечественного венценосца, вместо иноземного или похитителя, и видеть искреннюю дружбу между Сигизмундом и царем, который без сомнения не будет примером неблагодарности, зная, чем обязан королю и Королевству Польскому».



Заочное обручение Марины Мнишек с Лжедмитрием I в Кракове 12 ноября 1605 года. Картина неизвестного художника XVII века

Кардинал и знатнейшие духовные сановники пели молитву: *Veni, Creator*: все преклонили колена; но Власьев стоял и едва не произвел смеха, на вопрос епископа: «не обручен ли Димитрий с другою невестою?» ответствуя: а мне как знать? того у меня нет в наказе. Меняясь перстнями, он вынул царский из ящика, с одним большим алмазом, и вручил кардиналу; а сам не хотел голою рукою взять невестина перстня. По совершении священных обрядов был великолепный стол у воеводы Сендомирского, и Марина сидела подле короля, принимая от российских чиновников дары своего жениха: богатый образ Св. Троицы, благословение царицы-инокини Марфы; перо из рубинов; чашу гиацинтовую; золотой корабль, осыпанный многими драгоценными камнями; золотого быка, пеликана и павлина; какие-то удивительные часы с флейтами и трубами; с лишком три пуда жемчугу, шестьсот сорок редких соболей, кипы бархатов, парчей, штофов, атласов, и проч. и проч. Между тем Власьев, желая быть почтительным, не хотел садиться за стол с Мариною, ни пить, ни есть и, худо разумея, что он представляет лицо Димитрия, бил челом в землю, когда Сигизмунд и семейство его пили за здоровье царя и царицы: уже так именовали невесту обрученную. После обеда король, Владислав и шведская принцесса Анна танцевали с Мариною; а Власьев уклонился от сей чести, говоря: «дерзну ли коснуться ее величества!»

Наконец, прощаясь с Сигизмундом, Марина упала к ногам его и плакала от умиления, к неудовольствию посла, который видел в том унижение для будущей супруги московского венценосца; но ему ответствовали, что Сигизмунд государь ее, ибо она еще в Кракове. Подняв Марину с ласкою, король сказал ей: «Чудесно возвышенная Богом, не забудь, чем ты обязана стране своего рождения и воспитания, – стране, где оставляешь ближних и где нашло тебя счастье необыкновенное. Питай в супруге дружество к нам и благодарность за сделанное для него мною и твоим отцом. Имей страх Божий в сердце, чти родителей и не изменяй обычаям польским». Сняв с себя шапку, он перекрестил Марину, собственными руками отдал послу и дозволил воеводе Сендомирскому ехать с нею в Россию; а Власьев, немед-

ленно отправив к Самозванцу перстень невесты и живописное изображение лица ее, жил еще несколько дней в Кракове, чтобы праздновать Сигизмундово бракосочетание с австрийскою эрцгерцогинею, и (8 декабря) выехал в Слоним, ожидать там Мнишка и Марины на пути их в Россию; но ждал долго.

Пожертвовав Самозванцу знатную часть своего богатства, воевода Сендомирский не был доволен одними дарами: требовал от него денег, чтобы расплатиться с займодавцами, и не хотел без того выехать из Кракова; скучал, досадовал и тревожился худою молвою о будущем зяте.

В Кракове знали, что делалось в Москве; знали о негодовании россиян, и многие не верили ни царскому происхождению Лжедмитрия, ни долговременности его счастья; говорили о том всенародно, предостерегали короля и Мнишка. Сама царица-инокиня Марфа, как уверяют, тайно велела чрез одного шведа объявить Сигизмунду, что мнимый Димитрий не есть сын ее. Даже и чиновники российские, присылаемые гонцами в Польшу, шептали на ухо любопытным о царе беззаконном и предсказывали неминуемый скорый ему конец. Но Сигизмунд и Мнишек не верили таким речам или показывали, что не верят, желая приписывать их единственно внушениям тайных злодеев царя, друзей Годунова и Шуйского. Во всяком случае уже не время было думать о разрыве с тем, кто звал на престол Марину и честно вознаграждал отца ее за все его убытки: ибо, наконец (в январе 1606), секретарь Ян Бучинский привез из Москвы двести тысяч золотых Мнишку, сверх ста тысяч, отданных Лжедмитрием Сигизмунду в уплату суммы, которую занял у него воевода Сендомирский на ополчение 1604 года. Расстрига изъявлял нетерпение видеть невесту; но отец ее, занимаясь пышными сборами, еще долго жил в Галиции и выехал, с толпою своих ближних, уже в распутицу, так что некоторые из них от худой дороги возвратились, – к их счастью: ибо в Москве уже все изготовилось к страшному действию народной мести.

Оградив себя иноземными телохранителями и видя тишину в столице, уклончивость, низость при дворе, Лжедмитрий совершенно успокоился; верил какому-то предсказанию, что ему властвовать тридцать четыре года, и пировал с боярами на их свадьбах, дозволив им свободно выбирать себе невест и жениться: чего не было в царствование Годунова и чем воспользовался, хотя уже и не в молодых летах, знатнейший вельможа князь Мстиславский, за коего Самозванец выдал двоюродную сестру царицы-инокини Марфы. Казалось, что и Москва искренно веселилась с царем: никогда не бывало в ней столько пиров и шума; никогда не видали столько денег в обращении: ибо немцы, ляхи, козаки, сподвижники Лжедмитрия, от щедрот его сыпали золотом, к немалой выгоде московского купечества, и хвастаясь богатством, по словам летописца, не только ели, пили, но и в банях мылись из серебряных сосудов.

В сии веселые дни Самозванец, расположенный к действиям милости, простил Шуйских, чрез шесть месяцев ссылки: возвратил им богатство и знатность, в удовольствие их многочисленных друзей, которые умели хитро ослепить его прелестию такого великодушия, и, вероятно, уже не без намерения, гибельного для лжецаря. Всеми уважаемый как перво-степенный муж государственный и потомок Рюриков, Василий Шуйский был тогда идолом народа, прославив себя неустрашимую твердостью в обличении Самозванца: пытки и плаха дали ему, в глазах россиян, блистательный венец Героя-мученика, и никто из бояр не мог, в случае народного движения, иметь столько власти над умами, как сей князь, равно честолюбивый, лукавый и смелый. Дав на себя письменное обязательство в верности Лжедмитрию, он возвратился в столицу, по-видимому, иным человеком: казался усерднейшим его слугою и снискал в нем особенную доверенность, вопреки мнению некоторых ближних людей Самозванца, которые говорили, что можно из милосердия, иногда одобряемого политикою, не казнить изменника и клятвопреступника, но безрассудно верить его новой клятве; что Шуйский, не видав от Димитрия ничего, кроме благоволения, замышлял его гибель, а претерпев

от него бесчестие, муки, ужас смерти, конечно не исполнился любви к своему карателю хотя и правосудному: исполнился, вероятнее, злобы и мести, скрывааемых под личиною раскаяния.

Они говорили истину: Шуйский возвратился с тем, чтобы погибнуть или погубить Лжедмитрия. Но легкоумный, гордый Самозванец, хваляся еще не столько благостию, сколько бесстрашием, ответствен, что находя искреннее удовольствие в милости, любит прощать совершенно, не вполнину, и без греха не может чего-нибудь страшиться, быв от самой колыбели чудесно и явно храним Богом. Он хотел, чтобы князь Василий, подобно Мстиславскому, избрал себе знатную невесту: Шуйский выбрал княжну Буйносову-Ростовскую, свойственницу Нагих, и должен был жениться чрез несколько дней после царской свадьбы – одним словом, быв угодником Иоанновым и Борисовым, обворожил расстригу нехитрого, сделался его советником, и не для того, чтобы советовать ему доброе!

Лжедмитрий действовал, как и прежде: ветрено и безрассудно; то желал снискать любовь россиян, то умышленно оскорблял их. Современники рассказывают следующее происшествие: «Он велел сделать зимою ледяную крепость, близ Вязёмы, верстах в тридцати от Москвы, и поехал туда со своими телохранителями, с конною дружиною ляхов, с боярами и лучшим воинским дворянством. Россиянам надлежало защищать городок, а немцам взять его приступом: тем и другим, вместо оружия, дали снежные комы. Начался бой, и Самозванец, предводительствуя немцами, первый ворвался в крепость; торжествовал победу; говорил: так возьму Азов – и хотел нового приступа. Но многие из россиян обливались кровию: ибо немцы во время схватки, бросая в них снегом, бросали и камнями. Сия худая шутка, оставленная царем без наказания и даже без выговора, столь озлобила россиян, что Лжедмитрий, опасаясь действительной сечи между ими, телохранителями и ляхами, спешил развести их и возвратиться в Москву».

Ненависть к иноземцам, падая и на пристрастного к ним царя, ежедневно усиливалась в народе от их дерзости: например, с дозволения Лжедмитриева имея свободный вход в наши церкви, они бесчинно гремели там оружием, как бы готовясь к битве; опирались, ложились на гробы Святых. Не менее жаловались москвитяне и на козаков, сподвижников расстригиных: величаясь своею службою, сии люди грубые оказывали к ним презрение и называли их в ругательство жидами; суда не было.



Ф.Г. Солнцев. Образок, крест и золотая бляха Дмитрия Самозванца. Альбом «Древности Российского государства»

Но самым злейшим врагом Лжедмитрия сделалось духовенство. Как бы желая унижить сан монашества, он срамил иноков в случае их гражданских преступлений бесчестною торговою казнию, занимал деньги в богатых обителях и не думал платить сих долгов значительных; наконец велел представить себе опись имению и всем доходам монастырей, изъ-

явив мысль оставить им только необходимое для умеренного содержания старцев, а все прочее взять на жалованье войску: то есть смелый бродяга, бурю кинутый на престол шаткий и новою бурю угрожаемый, хотел прямо, необыновенно совершить дело, на которое не отважились государи законные, Иоанны III и IV, в тишине бесспорного властвования и повиновения неограниченного! – Дело менее важное, но не менее безрассудное также возбудило негодование белого московского духовенства: Лжедмитрий выгнал всех арбатских и Чертольских священников из их домов, чтобы поместить там своих иноземных телохранителей, которые жили большею частию в слободе Немецкой, слишком далеко от Кремля. Пастыри душ, в храмах торжественно молясь за мнимого Димитрия, тайно кляли в нем врага своего и шептали прихожанам о Самозванце, гонителе церкви и благоприятеле всех ересей: ибо он, дозволив иезуитам служить латинскую Обедню в Кремле, дозволил и лютеранским пасторам говорить там проповеди, чтобы его телохранители не имели труда ездить для моления в отдаленную Немецкую слободу.

В сие время явление нового Самозванца также повредило расстриге в общем мнении. Завидуя успеху и чести донцов, их братья, козаки волжские и терские, назвали одного из своих товарищей, молодого козака Илейку, сыном государя Феодора Иоанновича, Петром, и выдумали сказку, что Ирина в 1592 году разрешилась от бремени сим царевичем, коего властолюбивый Борис умел скрыть и подменил девочкою (Феодосиею). Их собралось четыре тысячи, к ужасу путешественников, особенно людей торговых: ибо сии мятежники, сказывая, что идут в Москву с царем, грабили всех купцов на Волге, между Астраханью и Казанью, так что добычу их ценили в триста тысяч рублей; а Лжедмитрий не мешал им злодействовать и писал к мнимому Петру – вероятно, желая заманить его в сети – что если он истинный сын Феодоров, то спешил бы в столицу, где будет принят с честью. Никто не верил новому обманщику; но многие еще более уверились в самозванстве расстриги, изыскав одну басню другою; многие даже думали, что оба Самозванца в тайном согласии; что Лжепетр есть орудие Лжедмитрия; что последний велит козакам грабить купцов для обогащения казны своей и ждет их в Москву, как новых ревностных союзников для безопаснейшего тиранства над россиянами, ему ненавистными. Илейка действительно, как пишут, хотел воспользоваться ласковым приглашением расстриги и шел к Москве, но узнал в Свижске, что мнимого дяди его уже не стало.

По всем известиям, возвращение князя Василия Шуйского было началом великого заговора и решило судьбу Лжедмитрия, который изготовил легкий успех оною, досаждая боярам, духовенству и народу, презирая Веру и добродетель. Может быть, следуя иным, лучшим правилам, он удержался бы на троне и вопреки явным уликам в самозванстве; может быть, осторожнейшие из бояр не захотели бы свергнуть властителя хотя и незаконного, но благоразумного, чтобы не предать отечества в жертву безначалию. Так, вероятно, думали многие в первые дни расстригина царствования: ведая, кто он, надеялись по крайней мере, что сей человек удивительный, одаренный некоторыми блестящими свойствами, заслужит счастье делами достохвальными; увидели безумие – и восстали на обманщика: ибо Москва, как пишут, уже не сомневалась тогда в единстве Отрепьева и Лжедмитрия. Любопытно знать, что самые ближние люди расстригины не скрывали истины друг от друга; сам несчастный Басманов в беседе искренней с двумя немцами, преданными Лжедмитрию, сказал им: «Вы имеете в нем отца и благоденствуете в России: молитесь о здравии его вместе со мною. Хотя он и не сын Иоаннов, но государь наш: ибо мы присягали ему, и лучшего найти не можем». Так Басманов оправдывал свое усердие к Самозванцу.

Другие же судили, что присяга, данная в заблуждении или в страхе, не есть истинная: сию мысль еще недавно внушали народу друзья Лжедмитриевы, склоняя его изменить юному Феодору; сею же мыслию успокоивал и Шуйский россиян добросовестных, чтобы низвергнуть бродягу. Надлежало открыться множеству людей разного звания, иметь

сообщников в синклите, духовенстве, войске, гражданстве. Шуйский уже испытал опасность ковов, лежав на плахе от нескромности своих клеветов; но с того времени общая ненависть ко Лжедмитрию созрела и ручалась за вернейшее хранение тайны. По крайней мере не нашлось предателей-изветников – и Шуйский умел, в глазах Самозванца, ежедневно с ним веселясь и пируя, составить заговор, коего нить шла от царской Думы чрез все степени государственные до народа московского, так что и многие из ближних людей Отрепьева, выведенные из терпения его упрямством в неблагоприятии, пристали к сему кову Распускали слухи зловерные для Самозванца, истинные и ложные: говорили, что он, пылая жаждою кровопролития безумного, в одно время грозит войною Европе и Азии.

Лжедмитрий несомненно думал воевать с султаном, назначил для того посольство к шаху Аббасу, чтобы приобрести в нем важного сподвижника, и велел дружинам детей боярских идти в Елец, отправив туда множество пушек; грозил и Швеции; написал к Карлу: «Всех соседственных государей уведомив о своем воцарении, уведомляю тебя единственно о моем дружестве с законным королем шведским Сигизмундом, требуя, чтобы ты возвратил ему державную власть, похищенную тобою вероломно, вопреки уставу Божественному, естественному и народному праву – или вооружишь на себя могущественную Россию. Усовестись и размысли о печальном жребии Бориса Годунова: так Всевышний казнит похитителей – казнит и тебя».

Уверяли еще, что Лжедмитрий вызывает хана опустошать южные владения России и, желая привести его в бешенство, послал к нему в дар шубу из свиных кож: басня, опровергаемая современными государственными бумагами, в коих упоминается о мирных, дружественных сношениях Лжедмитрия с Казы-Гиреем и дарах обыкновенных. Говорили справедливее о намерении или обещании Самозванца предать нашу церковь папе и знатную часть России Литве: о чем сказывал боярам дворянин Золотой-Квашнин, беглец Иоаннова времени, который долго жил в Польше.

Говорили, что расстрига ждет только воеводы Сендомирского с новыми шайками ляхов для исполнения своих умыслов, гибельных для отечества. Уже начальники заговора хотели было приступить к делу; но отложили удар до свадьбы Лжедмитриевой для того ли, как пишут, чтобы с невестою и с ее ближними возвратились в Москву древние царские сокровища, раздаренные им щедростию Самозванца, или для того, чтобы он имел время и способ еще более озлобить россиян новыми беззакониями, предвиденными Шуйским и друзьями его?

Между тем два или три случая, не будучи в связи с заговором, могли потревожить Самозванца. Ему донесли, что некоторые стрельцы всенародно злословят его, как врага веры: он призвал всех московских стрельцов с головою Григорием Микулиным, объявил им дерзость их товарищей и требовал, чтобы верные воины судили изменников: Микулин обнажил меч, и хулители лжецаря, не изъявляя ни раскаяния, ни страха, были иссечены в куски своими братьями: за что Самозванец пожаловал Микулина, как усердного слугу, в дворяне думные, а народ возненавидел как убийцу великодушных страдальцев. Таким же мучеником хотел быть и дьяк Тимофей Осипов: пылая ревностию изобличить расстригу, он несколько дней говел дома, приобщился Святых Тайн и торжественно, в палатах царских, пред всеми боярами, назвал его Гришкою Отрепьевым, рабом греха, еретиком. Все изумились, и сам Лжедмитрий безмолвствовал в смятении: опомнился и велел умертвить сего в истории незабвенного мужа, который своею кровию, вместе с немногими другими, искупал россиян от стыда повиноваться бродяге.

Пишут, что и стрельцы и дьяк Осипов, прежде их убиения, были допрашиваемы Басмановым, но никого не оговорили в единомыслии с ними. Не менее бесстрашным оказал себя и знаменитый слепец, так называемый царь Симеон: будучи ревностным христианином и слыша, что Лжедмитрий склоняется к латинской Вере, он презрел его милость и

ласки, всенародно изъявлял негодование, убеждал истинных сынов церкви умереть за ее святые уставы: Симеона, обвиняемого в неблагодарности, удалили в монастырь Соловецкий и постригли. Тогда же чиновник известными способностями ума и гибкостью нрава, быв в равной доверенности у Бориса и Самозванца, думный дворянин Михаило Татищев, вдруг заслужил опалу смелостию, в нем совсем необыкновенною. Однажды, за столом царским, князь Василий Шуйский, видя блюдо телятины, в первый раз сказал Лжедмитрию, что не должно подчивать россиян яствами, для них гнусными; а Татищев, пристав к Шуйскому, начал говорить столь невежливо и дерзко, что его вывели из дворца и хотели сослать на Вятку; но Басманов чрез две недели исходатайствовал ему прощение (себе на гибель, как увидим).



Дмитрий I. Гравюра. 1859 г.

Сей случай возбудил подозрение в некоторых ближних людях Отрепьева и в нем самом: думали, что Шуйский завел сей разговор с умыслом и что Татищев не даром изменил своему навыку; что они, зная вспыльчивость Лжедмитрия, хотели вырвать из него какое-нибудь слово нескромное и во вред ему разгласить о том в городе; что у них должно быть намерение дальновидное и злое. К счастью, Лжедмитрий, по нраву и правилам неопасливый, скоро оставил сию беспокойную мысль, видя вокруг себя лица веселые, все знаки усердия и преданности, особенно в Шуйском, и всего более думая тогда о великолепном приеме Марины.

Но воевода Сендомирский как долго не трогался с места, так медленно и путешествовал; везде останавливался, пировал, к досаде своего провожатого, Афанасия Власьева, и еще из Минска писал в Москву, что ему нельзя выехать из литовских владений, пока царь не заплатит королю всего долга; что грубость излишне ревностного слуги Власьева, нудящего их не ехать, а лететь в Россию, несносна для него, ветхого старца, и для нежной Марины. Самозванец не жалел денег: обязался удовлетворить всем требованиям Сигизмундовым, прислал пять тысяч червонцев в дар невесте и сверх того 5000 рублей и 13 000 талеров на ее путешествие до пределов России; но изъявил неудовольствие. «Вижу, – писал он к Мнишку, – что вы едва ли и весною достигнете нашей столицы, где можете не найти меня: ибо я намерен встретить лето в стане моего войска и буду в поле до зимы. Бояре, высланные ждать вас на рубеж, истратили в сей голодной стране все свои запасы и должны будут возвратиться, к стыду и поношению царского имени».

Мнишек в досаде хотел ехать назад; однако ж, извинив колкие выражения будущего зятя нетерпением его страстной любви, 8 апреля въехал в Россию.

Пишут, что Марина, оставляя навеки отечество, неутешно плакала в горестных предчувствиях и что Власьев не мог успокоить ее велеречивым изображением ее славы. Воевода Сендомирский желал блеснуть пышностью: с ним было родственников, приятелей и слуг не менее двух тысяч и столько же лошадей. Марина ехала между рядами конницы и пехоты. Мнишек, брат и сын его, князь Вишневецкий и каждый из знатных панов имел свою дружину воинскую. На границе приветствовали невесту царедворцы московские, а за местечком Красным бояре, Михаило Нагой (мнимый дядя Лжедмитриев) и князь Василий Мосальский, который сказал отцу ее, что знаменитейшие государи европейские хотели бы выдать дочерей своих за Дмитрия, но что Дмитрий предпочитает им его дочь, умея любить и быть благодарным. Оттуда повезли Марину на двенадцати белых конях, в санях великолепных, украшенных серебряным орлом; возницы были в парчовой одежде, в черных лисьих шапках; впереди ехало двенадцать знатных всадников, которые служили путеводителями и кричали возницам, где видели камень или яму.

Несмотря на весеннюю распутицу, везде исправили дорогу, везде построили новые мосты и дома для ночлегов. В каждом селении жители встречали невесту с хлебом и солью, священники с иконами. Граждане в Смоленске, Дорогобуже, Вязме подносили ей многоценные дары от себя, а сановники вручали письма от жениха с дарами еще богаче. Все старались угождать не только будущей царице, но и спутникам ее, надменным ляхам, которые вели себя нескромно, грубили россиянам, притворно смиренным, и, достигнув берегов Угры, вспомнили, что тут была древняя граница Литвы – надеялись, что и будет снова: ибо Мнишек вез с собою владенную грамоту, данную ему Самозванцем, на княжение Смоленское!.. Оставив Марину в Вязме, Сендомирский воевода с сыном и князем Вишневецким спешили в Москву для некоторых предварительных условий с царем относительно к браку.

25 апреля, имев пышный въезд в столицу, Мнишек с восторгом увидел будущего зятя на великолепном троне, окруженном боярами и духовенством: патриарх и епископы сидели на правой стороне, вельможи на левой. Мнишек целовал руку Лжедмитриеву; говорил речь и не находил слов для выражения своего счастья.

«Не знаю (сказал он), какое чувство господствует теперь в душе моей: удивление ли чрезмерное или радость неописанная? Мы проливали некогда слезы умиления, слушая повесть о жалостной, мнимой кончине Дмитрия – и видим его воскресшего! Давно ли, с горестию иного рода, с участием искренним и нежным, я жал руку изгнанника, моего гостя печального – и сию руку, ныне державную, лобызая с благоговением!.. О счастье! как ты играешь смертными! Но что говорю? Не слепому счастью, а Провидению дивимся в судьбе твоей: Оно спасло тебя и возвысило, к утешению России и всего христианства. Уже известны мне твои блестящие свойства: я видел тебя в пылу битвы неустрашимого, в трудах воинских

неутомимого, к хладу зимнему нечувствительного... ты бодрствовал в поле, когда и звери севера в своих норах таились. История и стихотворство прославят тебя за мужество и за многие иные добродетели, которые спешу открыть в себе миру; но я особенно должен славить твою высокую ко мне милость, щедрую награду за мое к тебе раннее дружество, которое предупредило честь и славу твою в свете: ты делишь свое величие с моей дочерью, умея ценить ее нравственное воспитание и выгоды, данные ей рождением в государстве свободном, где дворянство столь важно и сильно, – а всего более зная, что одна добродетель есть истинное украшение человека».

Лжедимитрий слушал с видом чувствительности, непрестанно утирая себе глаза платком, но не сказал ни слова: вместо царя отвечал Афанасий Власьев. Началось роскошное угощение. Мнишек обедал у Лжедимитрия в новом дворце, где поляки хвалили и богатство и вкус украшений. Честя гостя, Самозванец не хотел однако ж сидеть с ним рядом: сидел один за серебряною трапезою и в знак уважения велел только подавать ему, сыну его и князю Вишневецкому золотые тарелки. Во время обеда привели двадцать лопарей, бывших тогда в Москве с данию, и рассказывали любопытным иноземцам, что сии странные дикари живут на краю света, близ Индии и Ледовитого моря, не зная ни домов, ни теплой пищи, ни законов, ни веры: Лжедимитрий хвалился неизмеримостию России и чудным разнообразием ее народов.

Вечеру играли во дворце польские музыканты; сын воеводы Сендомирского и князь Вишневецкий танцевали, а Лжедимитрий забавлялся переодеванием, ежечасно являясь то русским щеголем, то венгерским гусаром. Пять или шесть дней угощали Мнишка изобильными, бесконечными обедами, ужинами, звериною ловлею, в коей Лжедимитрий, как обыкновенно, блистал искусством и смелостию: бил медведей рогатиною, отсекал им голову саблею и веселился громкими восклицаниями бояр: «Слава царю!»

В сие время занимались и делом.

Лжедимитрий писал еще в Краков к воеводе Сендомирскому, что Марина, как царица российская, должна по крайней мере наружно чтить Веру греческую и следовать обрядам; должна также наблюдать обычаи московские и не убирать волос: но легат папский Рангони с досадою отвечал на первое требование, что государь самодержавный не обязан угождать бессмысленному народному суеверию; что Закон не воспрещает брака между христианами греческой и римской церкви и не велит супругам жертвовать друг другу советию; что самые предки Димитриевы, когда хотели жениться на княжнах польских, всегда оставляли им свободу в Вере. Сие затруднение было, кажется, решено в беседах Лжедимитрия с воеводою Сендомирским и с нашим духовенством: условились, чтобы Марина ходила в греческие церкви, приобщалась Святых Тайн от патриарха и постилась еженедельно не в субботу, а в среду, имея однако ж свою латинскую церковь и наблюдая все иные уставы римской веры. Патриарх Игнатий был доволен; другие святители молчали, все, кроме митрополита казанского Ермогена и коломенского епископа Иосифа, сосланных расстригою за их смелость: ибо они утверждали, что невесту должно крестить, или женитьба царя будет беззаконием. Гордяся хитрою политикою – удовольствовав, как он думал, и Рим и Москву, – устроив все для торжественного бракосочетания и принятия невесты, Лжедимитрий дал ей знать, что ждет ее с нежным чувством любовника и с великолепием царским.

Марина дня четыре жила в Вязёме, бывшем селе Годунова, где находился его дворец, окруженный валом, и где в каменном храме, донныне целом, видны еще многие польские надписи Мнишковых спутников.



Храм Спаса Преображения в усадьбе Вязёмы. XVI в.

1 мая, верст за пятнадцать от Москвы, встретили будущую царицу купцы и мещане с дарами – 2 мая, близ городской заставы, дворянство и войско: дети боярские, стрельцы, козаки (все в красных суконных кафтанах, с белою перевязью на груди), немцы, поляки, числом до ста тысяч. Сам Лжедмитрий был тайно в простой одежде между ими, вместе с Басмановым расставил их по обеим сторонам дороги и возвратился в Кремль. Не въезжая в город, на берегу Москвы-реки, Марина вышла из кареты и вступила в великолепный шатер, где находились бояре: князь Мстиславский говорил ей приветственную речь; все другие кланялись до земли. У шатра стояли двенадцать прекрасных верховых коней в дар невесте, и богатая колесница, украшенная серебряными орлами царского герба и запряженная десятью пегими лошадьми: в сей колеснице Марина въехала в Москву, будучи сопровождаема своими ближними, боярами, чиновниками и тремя дружинами царских телохранителей; впереди шли триста гайдуков с музыкантами, а позади ехали тринадцать карет и множество всадников.

Звонили в колокола, стреляли из пушек, били в барабаны, играли на трубах – а народ безмолвствовал; смотрел с любопытством, но изъявлял более печали, нежели радости, и заметил вторично бедственное предзнаменование: уверяют, что в сей день свирепствовала буря, так же, как и во время расстригина вступления в Москву. Пред воротами Кремлевскими, на возвышенном месте площади (где встретило бы невесту царскую духовенство с крестами, если бы сия невеста была православная), встретили Марину новые толпы литаврщиков, производя несносный для слуха шум и гром. При въезде ее в Спасские ворота музыканты польские играли свою народную песню: навеки в счастье и несчастье; колесница остановилась в Кремле у Девичьего монастыря: там невеста была принята царицею-инокинею;

там увидела и жениха – и жила до свадьбы, отложенной на шесть дней еще для некоторых приготовлений.

Между тем Москва волновалась. Поместив воеводу Сендомирского в Кремлевском доме Борисовом (вертепе царевубийства!), взяли для его спутников все лучшие дворы в Китае, в Белом городе и выгнали хозяев, не только купцов, дворян, дьяков, людей духовного сана, но и первых вельмож, даже мнимых родственников царских, Нагих: сделался крик и вопль.

С другой стороны, видя тысячи гостей незваных, с ног до головы вооруженных, – видя, как они еще из телег своих вынимали запасные сабли, копья, пистолеты, москвитяне спрашивали у немцев, ездят ли в их землях на свадьбу, как на битву? И говорили друг другу, что поляки хотят овладеть столицею. В один день с Мариною въехали в Москву великие послы Сигизмундовы, паны Олесницкий и Госевский, также с воинскою многочисленною дружиною и также к беспокойству народа, который думал, что они приехали за веном Марины [городами Псковом и Новгородом] и что царь уступает Литве все земли от границы до Можайска – мнение несправедливое, как доказывают бумаги сего посольства: Олесницкий и Госевский должны были только вместо короля присутствовать на свадьбе Лжедмитрия, утвердить Сигизмундову с ним дружбу и союз с Россиею, не требуя ничего более. Самозванец, по сказанию летописца, зная молву народную о грамоте, данной им Мнишку на Смоленск и Северскую область, говорил боярам, что не уступит ни пяди Российской ляхам – и, может быть, говорил искренно: может быть, обманывая папу, обманул бы и тестя и жену свою; но бояре, по крайней мере Шуйский с друзьями, не старались переменить худых мыслей народа о Лжедмитрии, который новыми соблазнами еще усилил общее негодование.

Доброжелатели сего безрассудного хотели уверить благочестивых россиян, что Марина в уединенных, недоступных келиях учится нашему Закону и постится, готовясь к крещению: в первый день она действительно казалась постницею, ибо ничего не ела, гнушаясь русскими яствами; но жених, узнав о том, прислал к ней в монастырь поваров отца ее, коим отдали ключи от царских запасов и которые начали готовить там обеды, ужины, совсем не монастырские. Марина имела при себе одну служанку, никуда не выходила из келий, не ездила даже и к отцу; но ежедневно видела страстного Лжедмитрия, сидела с ним наедине или была увеселяема музыкою, пляскою и песнями не духовными. Расстрига вводил скомоухов в обитель тишины и набожности, как бы ругаясь над святым местом и саном инокинь непорочных. Москва сведала о том с омерзением.

Соблазн иного рода, плод ветрености Лжедмитриевой, изумил царедворцев.

3 мая расстрига торжественно принимал в золотой палате знатных ляхов, родственников Мнишковых и послов королевских. Гофмейстер Марины, Стадницкий, именем всех ее ближних говоря речь, сказал ему: «Если кто-нибудь удивится твоему союзу с Домом Мнишка, первого из вельмож королевских, то пусть заглянет в историю государства Московского: прадед твой, думаю, был женат на дочери Витовта, а дед на Глинской – и Россия жаловалась ли на соединение царской крови с литовскою? Ни мало. Сим браком утверждаешь ты связь между двумя народами, которые сходятвуют в языке и в обычаях, равны в силе и доблести, но донныне не знали мира искреннего и своею закоснелою враждою тешили неверных; ныне же готовы, как истинные братья, действовать единомысленно, чтобы низвергнуть Луну ненавистную... и слава твоя, как солнце, воссияет в странах Севера».

За родственниками воеводы Сендомирского, важно и величаво, шли послы. Лжедмитрий сидел на престоле: сказав царю приветствие, Олесницкий вручил Сигизмундову грамоту Афанасию Власьеву, который тихо прочитал Самозванцу ее надпись и возвратил бумагу послам, говоря, что она писана к какому-то князю Димитрию, а монарх российский есть цесарь; что послы должны ехать с нею обратно к своему государю. Изумленный пан Олесницкий, взяв грамоту сказал Лжедмитрию: «Принимаю с благоговением; но что делается?»

оскорбление беспримерное для короля, – для всех знаменитых ляхов, стоящих здесь пред тобою, – для всего нашего отечества, где мы еще недавно видели тебя, осыпаемого ласками и благодеяниями! Ты с презрением отвергаешь письмо его величества на сем троне, на коем сидишь по милости Божией, государя моего и народа польского!..»

Такое нескромное слово оскорбляло всех россиян не менее царя; но Лжедмитрий не мыслил выгнать дерзкого пана и как бы обрадовался случаю блистать своим красноречием; велел снять с себя корону и сам отвечал следующее: «Необыкновенное, неслыханное дело, чтобы венценосцы, сидя на престоле, спорили с иноземными послами; но король упрямством выводит меня из терпения. Ему изъяснено и доказано, что я не только князь, не только государь и царь, но и великий император в своих неизмеримых владениях. Сей титул дан мне Богом и не есть одно пустое слово, как титулы иных королей; ни ассирийские, ни мидийские, ниже римские цесари не имели действительнейшего права так именоваться. Могу ли быть доволен названием князя и государя, когда мне служат не только господари и князья, но и цари? Не вижу себе равного в странах полуночных; надо мною один Бог. И не все ли монархи европейские называют меня императором? Для чего же Сигизмунд того не хочет? Пан Олесницкий! Спрашиваю: мог ли бы ты принять на свое имя письмо, если бы в его надписи не было означено твое шляхетское достоинство?.. Сигизмунд имел во мне друга и брата, какого еще не имела республика Польская; а теперь вижу в нем своего зложелателя».

Извиняясь в худом витийстве неспособностью говорить без приготовления, а в смелости навыком человека свободного, Олесницкий с жаром и грубостью упрекал Лжедмитрия неблагодарностью, забвением милостей королевских, безрассудностию в требовании титула нового, без всякого права; указывая на бояр, ставил их в свидетели, что венценосцы российские никогда не думали именоваться цесарями; предавал Самозванца суду Божию за кровопролитие, вероятное следствие такого неумеренного честолюбия. Самозванец возражал; наконец смягчился и звал Олесницкого к руке не в виде посла, а в виде своего доброго знакомца; но разгоряченный пан сказал: «Или я посол, или не могу целовать руки твоей» – и сею твердостью принудил расстригу уступить: «Для того (сказал Власев), что царь, готовясь к брачному веселию, расположен к снисходительности и к мирным чувствам».

Грамоту Сигизмундову взяли, послам указали места, и Лжедмитрий спросил о здоровье короля, но сидя: Олесницкий хотел, чтоб он для сего вопроса, в знак уважения к королю, привстал, и расстрига исполнил его желание – одним словом, унизил, остыдил себя в глазах двора явлением непристойным, досадив вместе и ляхам и россиянам. С честью отпустив послов в их дом, Лжедмитрий велел дьяку Грамотину сказать им, что они могут жить, как им угодно, без всякого надзора и принуждения: видеться и говорить, с кем хотят; что обычаи переменились в России, и спокойная любовь к свободе заступила место недоверчивого тиранства; что гостеприимная Москва ликует, в первый раз видя такое множество ляхов, а царь готов удивить Европу и Азию дружбою своею к королю, если он признает его императором из благодарности за титул шведского, отнятый Борисом у Сигизмунда, но возвращаемый ему Димитрием.

Делом государственного союза хотели заняться после свадьбы царской: ибо Лжедмитрий не имел времени мыслить о делах, занимаясь единственно невестою и гостями.

В монастыре веселились, во дворце пировали. Жених ежедневно дарил невесту и родных ее, покупая лучшие товары у купцов иноземных, коих множество наехало в Москву из Литвы, Италии и Германии. За два дня до свадьбы принесли Марине шкатулку с узорочьями, ценою в пятьдесят тысяч рублей, а Мнишку выдали еще сто тысяч злотых для уплаты остальных долгов его, так что казна издержала в сие время на одни дары 800 000 (нынешних серебряных 4 000 000) рублей, кроме миллионов, издержанных на путешествие или угощение Марины с ее ближними. Лжедмитрий хотел царскою роскошью затмить польскую: ибо воевода Сендомирский и другие знатные ляхи также не жалели ничего для внешнего блеска,

имели богатые кареты и прекрасных коней, рядили слуг в бархат и готовились жить пышно в Москве (куда Мнишек привез тридцать бочек одного вина венгерского). Но самая роскошь гостей озлобляла народ: видя их великолепие, москвитяне думали, что оно есть плод расхищения казны царской; что достояние отечества, собранное умом и трудами наших государей, идет в руки вечных неприятелей России.

7 мая, ночью, невеста вышла из монастыря и при свете двухсот факелов, в колеснице, окруженной телохранителями и детьми боярскими, переехала во дворец, где в следующее утро совершилось обручение по уставу нашей церкви и древнему обычаю; но, вопреки сему уставу и сему обычаю, в тот же день, накануне пятницы и Святого праздника, совершился и брак: ибо Самозванец не хотел ни одним днем своего счастья жертвовать, как он думал, народному предрассудку. Невесту для обручения ввели в столовую палату княгиня Мстиславская и воевода Сендомирский. Тут присутствовали только ближайшие родственники Мнишковы и чиновники свадебные: тысяцкий князь Василий Шуйский, дружки (брат его и Григорий Нагой), свахи и весьма немногие из бояр. Марина, усыпанная алмазами, яхонтами, жемчугом, была в русском, красном бархатном платье с широкими рукавами и в сафьянных сапогах; на голове ее сиял венец. В таком же платье был и Самозванец, также с головы до ног блистая алмазами и всякими камнями драгоценными.

Духовник царский, благовещенский протоиерей, читал молитвы; дружки резали караваи с сырами и разносили ширинки. Оттуда пошли в Грановитую палату, где находились все бояре и сановники двора, знатные ляхи и послы Сигизмундовы.

Там увидели россияне важную новость: два престола, один для Самозванца, другой для Марины – и князь Василий Шуйский сказал ей: «Наияснейшая великая государыня, цесарева Мария Юриевна! Волею Божию и непобедимого самодержца, цесаря и великого князя всея России, ты избрана быть его супругою: вступи же на свой цесарский маестат и властвуй вместе с государем над нами!»



*Шимон Богуш.* Венчание Марины Мнишек с Лжедмитрием в Успенском соборе Московского Кремля. Около 1613 года

Она села. Вельможа Михаиле Нагой держал пред нею корону Мономахову и диадему. Велели Марине поцеловать их и духовнику царскому нести в храм Успения, где уже все изготовили к торжественному обряду, и куда, по разостланным сукнам и бархатам, вел жениха воевода Сендомирский, а невесту княгиня Мстиславская; впереди шли, сквозь ряды телохранителей и стрельцов, стольники, стряпчие, все знатные ляхи, чиновники свадебные, князь

Василий Голицын с жезлом или скиптром, Басманов с державою; позади бояре, люди думные, дворяне и дьяки. Народа было множество.

В церкви Марина приложилась к образам – и началось священнодействие, дотоле беспримерное в России: царское венчание невесты, коим Лжедимитрий хотел удовлетворить ее честолюбие, возвысить ее в глазах россиян и, может быть, дать ей, в случае своей смерти и неимения детей, право на державство. Среди храма, на возвышенном, так называемом чертожном месте сидели жених, невеста и патриарх: первый на золотом троне персидском, вторая на серебряном. Лжедимитрий говорил речь: патриарх ему отвечал и с молитвою возложил Животворящий Крест на Марину, бармы, диадему и корону (для чего свахи сняли головной убор или венец невесты). Лики пели многолетие государю и благоверной цесареве Марии, которую патриарх на Литургии украсил цепию Мономаховою, помазал и причастил.

Таким образом, дочь Мнишкова, еще не будучи супругою царя, уже была венчанною царицею (не имела только державы и скиптра). Духовенство и бояре целовали ее руку с обетом верности. Наконец выслали всех людей, кроме знатнейших, из церкви, и протопоп благовещенский обвенчал расстригу с Мариною. Держа друг друга за руку, оба в коронах, и царь и царица (последняя опираясь на князя Василия Шуйского) вышли из храма уже в час вечера и были громко приветствуемы звуком труб и литавр, выстрелами пушечными и колокольным звоном, но тихо и невнятно народными восклицаниями.

Князь Мстиславский, в дверях осыпав новобрачных золотыми деньгами из богатой мисы, кинул толпам граждан все остальные в ней червонцы и медали (с изображением орла двуглавого). Воевода Сендомирский и немногие бояре обедали с Лжедимитрием в столовой палате; но сидели недолго: встали и проводили его до спальни, а Мнишек и князь Василий Шуйский до постели. Все утихло во дворце. Москва казалась спокойною: праздновали и шумели одни ляхи, в ожидании брачных пиров царских, новых даров и почестей. Не праздновали и не дремали клеветы Шуйского: время действовать наступало.

Сей день, радостный для Самозванца и столь блестящий для Марины, еще усилил народное негодование. Невзирая на все безрассудные дела расстриги, москвитяне думали, что он не дерзнет дать сана российской царицы иноверке и что Марина примет Закон наш; ждали того до последнего дня и часа: увидели ее в короне, в венце брачном и не слышали отречения от латинства. Хотя Марина целовала наши святые иконы, вкусила тело и кровь Христову из рук патриарха, была помазана елеем и торжественно возглашена благоверною царицею; но сие явное действие лжи казалось народу новою дерзостью беззакония, равно как и царское венчание польской шляхетки, удостоенной величия, не слыханного и не доступного для самых цариц, истинно благоверных и добродетельных: для Анастасии, Ирины и Марии Годуновой. Корона Мономахова на главе иноземки, племени ненавистного для тогдашних россиян, вопияла к их сердцам о мести за осквернение святыни. Так мыслил народ, или такие мысли внушали ему еще невидимые вожди его в сие грозное будущим время.

Ничто не укрывалось от наблюдателей строгих. Только немногим из ляхов расстрига дозволил быть в церкви свидетелями его бракосочетания, но и сии немногие своим бесчинством возбудили общее внимание: шутили, смеялись или дремали в час Литургии, прислонясь спиною к иконам. Послы Сигизмундовы непременно хотели сидеть, требовали кресел и едва успокоились, когда Лжедимитрий велел сказать им, что и сам он сидит в церкви, на троне, единственно по случаю коронования Марины. Замечая, как бояре служили царю – как Шуйские и другие ставили ему и царице скамьи под ноги, кичливые паны дивились вслух такой низости и благодарили Бога, что живут в республике, где король не смеет требовать столь презрительных услуг от последнего из людей вольных... Россияне видели, слышали и не прощали.

В следующее утро, на рассвете, барабаны и трубы возвестили начало свадебного праздника: сия шумная музыка не умолкала до самого полудня. Во дворце готовился пир для россиян и ляхов; но Лжедимитрий, желая веселиться, имел досаду: новую ссору с королевскими послами. Он звал их обедать, учтиво и ласково; послы также учтиво благодарили, хотели однако ж непременно сидеть с царем за одним столом, как Власьев на свадьбе у короля сидел за столом королевским.

Лжедимитрий для объяснения прислал к ним Власьева; сей важный чиновник сказал Олесницкому: «Вы требуете неслыханного: у нас никому нет места за особенною царскою трапезою; король же угостил меня наравне с послами императорским и римским: следовательно не сделал ничего чрезвычайного, ибо государь наш не менее ни императора, ни римского владыки – нет, великий цесарь Димитрий более их: что у вас папа, то у него попы».

Так изъяснялся первый делец государственный и верный слуга расстригин, в душе своей не благоприятствуя ляхам и желая, может быть, сею непристойною насмешкою доказать, что Лжедимитрий не есть папист. Олесницкий снес грубость, но решился не ехать во дворец. Все иные знатные ляхи обедали с Самозванцем в Грановитой палате, кроме воеводы Сендомирского: он находил требование посллов справедливым, тщетно умолял зятя исполнить оное, проводил его и Марину до столовой комнаты и в неудовольствии уехал домой.

Сия размолвка не мешала блеску пиршества. Новобрачные обедали на троне; за ними стояли телохранители с секирами; бояре им служили. Играла музыка – и ляхи удивлялись несметному богатству, видя пред собою горы золота и серебра. Россияне же с негодованием видели царя в гусарском платье, а царицу в польском: ибо оно более нравилось мужу ее, который и накануне едва согласился, чтобы Марина, хотя для венчания, оделась россиянкою.

Вечеру ближние Мнишковы веселились во внутренних царских комнатах; а в следующий день (10 мая) Лжедимитрий принимал дары от патриарха, духовенства, вельмож, всех знатных людей, всех купцов чужестранных и снова пировал с ними в Грановитой палате, сидя лицом к иноземцам, спиною к русским. В золотой палате обедало 150 ляхов, простых воинов, но избранных, угощаемых думными дворянами: налив чашу вина. Лжедимитрий громогласно желал славных успехов оружию польскому и выпил ее до самого дна.

Наконец 11 мая обедали во дворце и послы Сигизмундовы с ревностным миротворцем воеводою Сендомирским, который, убедив зятя дать Олесницкому первое место возле стола царского, уговорил и сего пана не требовать ничего более и не жертвовать спору о суетной чести выгодами союза с Россиею. Хотя Лжедимитрий едва было не возобновил прения, сказав Олесницкому: «Я не звал короля к себе на свадьбу: следовательно ты здесь не в лице его, а только в качестве посла»; но Мнишек благоразумными представлениями утишил зятя, и все кончилось дружелюбно. Сей третий пир казался еще пышнее.

Царь и царица были в коронах и в польском великолепном наряде. Тут обедали и женщины: княгиня Мстиславская, Шуйская и родственницы воеводы Сендомирского, который, забыв свою дряхлость, не хотел сидеть: держа шапку в руках, стоял пред царицею и служил ей не как отец, а как подданный, к удивлению всех. Лжедимитрий пил здоровье короля; вообще пили много, особенно иноземные гости, хваля царские вина, но жалуясь на яства русские, для них невкусные. После стола откланялись царю сановники, коим надлежало ехать к шаху персидскому с письмами: они целовали руку у Лжедимитрия и Марины.

12 мая царица в своих комнатах угощала одних ляхов, пригласив только двух россиян: Власьева и князя Василия Мосальского. Услуга и кушанья были польские, так что паны, изъявляя живейшее удовольствие, говорили: «Мы пируем не в Москве и не у царя, а в Варшаве или в Кракове у короля нашего». Пили и плясали до ночи. Лжедимитрий в гусарской одежде танцевал с женою и с тестем. – Но царица оказала милость и россиянам: 14 мая обедали у нее бояре и люди чиновные. В сей день она казалась русскою, верно соблюдая наши обычаи;

старалась быть и любезною, всех приветствуя и лаская... Но приветствия уже не трогали сердца ожесточенных!

Между тем не умолкала в столице музыка: барабаны, литавры, трубы с утра до вечера оглушали жителей. Ежедневно гремели и пушки в знак веселия царского; не щадили порохи и в пять или в шесть дней истратили его более, нежели в войну Годунова с Самозванцем. Ляхи также в забаву стреляли из ружей в своих домах и на улицах, днем и ночью, трезвые и пьяные.

Утомленный празднествами, Лжедмитрий хотел заняться делами, и пятнадцатого мая, в час утра, послы Сигизмундовы нашли его в новом дворце сидящего на креслах, в прекрасной голубой одежде, без короны, в высокой шапке, с жезлом в руке, среди множества царедворцев: он велел послам идти к боярам в другую комнату, чтобы объяснить им предложения Сигизмундовы. Князь Дмитрий Шуйский, Татищев, Власьев и дьяк Грамотин беседовали с ними. Олесницкий, в речи плодovitой, Ветхим и Новым Заветом доказывал обязанность христианских монархов жить в союзе и противиться неверным; оплакивал падение Константинополя и несчастье Иерусалима; хвалил великодушное намерение царя освободить их от бедственного ига и заключил тем, что Сигизмунд, пылая усердием разделить с братом своим, Димитрием, славу такого предприятия, желает знать, когда и с какими силами он думает идти на султана?

Татищев отвечал: «Король хочет знать: верим; но хочет ли действительно помогать непобедимому цесарю в войне с турками? Сомневаемся. Желание все выведать, с намерением ничего не делать, кажется нам только обманом и лукавством». Удивляясь дерзости Татищева (который говорил невежливо, ибо уже знал о скорой перемене обстоятельств), послы свидетельствовали Власьевым, что не Сигизмунд Димитрию, а Димитрий Сигизмунду предложил воевать Оттоманскую державу: следственно и должен объявить ему свои мысли о способах успеха.

Тут российские чиновники оставили послов, ходили к Лжедмитрию, возвратились и, сказав: «Сам цесарь будет говорить с вами в присутствии бояр», отпустили их домой; но мнимый цесарь уже не мог сдержать слова!

Еще Лжедмитрий готовил потехи новые; велел строить деревянную крепость с земляною осypью вне города, за Сретенскими воротами, и вывести туда множество пушек из Кремля, чтобы 18 мая представить ляхам и россиянам любопытное зрелище приступа, если не кровопролитного, то громозвучного, коему надлежало заключиться пиршеством общенародным. Марина также замышляла особенное увеселение для царя и людей ближних во внутренних комнатах дворца: думала со своими польками плясать в личинах. Но россияне уже не хотели ждать ни той, ни другой потехи.

Если Шуйский отложил удар до свадьбы Отрепьева с намерением дать ему время еще более возмутить сердца своим легкомыслием, то сие предвидение исполнилось: новые соблазны для церкви, двора и народа умножили ненависть и презрение к Самозванцу, а наглость ляхов все довершила, так что им обзанный счастьем, он их же содействием и погибнул! Сии гости и друзья его услуживали хитрому Шуйскому, истощая терпение россиян, столь мало ими уважаемых (как мы видели), что Мнишек нескромно обещал боярам свою милость, и посол королевский дерзнул торжественно назвать Лжедмитрия творением Сигизмундовым.

На самых пирах свадебных, во дворце, разгоряченные вином ляхи укоряли воевод наших трусостью и малодушием, хваляся: «Мы дали вам царя!» Но россияне, сколь ни униженные, сколь ни виновные пред отечеством и добродетелию, еще имели гордость народную; кипели злобою, но удерживались и шептали друг другу: «Час мести недалеко!» Сего мало: воины польские и даже чиновнейшие ляхи, нетрезвые возвращаясь из дворца с обнаженными саблями, на улицах рубили москвитян, бесчестили жен и девиц, самых благород-

ных, силою извлекая их из колесниц или вламываясь в дома; мужья, матери вопили, требовали суда. Одного ляха-преступника хотели казнить, но товарищи освободили его, умертвив палача и не страшась закона.

Так было – и на беззаконие восстало беззаконие. Мы удивлялись легкому торжеству Самозванца: теперь удивимся его легкому падению. В то время, как он беспечно тешился и плясал с своими ляхами – когда головы кружились от веселия и мысли затмевались парами вина, Шуйский, неусыпно наблюдая, решился уже не медлить и в тишине ночи призвал к себе не только сообщников (из коих главными именуется князь Василий Голицын и боярин Иван Куракин) – не только друзей, клеветов, но и многих людей сторонних: дворян царских, чиновников военных и градских, сотников, пятидесятников, которые еще не были в заговоре, благоприятствуя оному единственно в тайне мыслей. Шуйский смело открыл им свою душу; сказал, что отечество и вера гибнут от Лжедмитрия; извинял заблуждение россиян; извинял и тех, которые знали истину, но приняли обманщика, желая низвергнуть ненавистных Годуновых, и в надежде, что сей юный витязь, хотя и расстрига, будет добрым властителем. «Заблуждение скоро исчезло, – продолжал он, – и вы знаете, кто первый дерзнул обличать Самозванца; но голова моя лежала на плахе, а злодей спокойно величался на престоле: Москва не тронулась!»

Шуйский извинял и сие бездействие: ибо многие еще не имели тогда полного удостоверения в обмане и в злодействе мнимого Дмитрия. Представив все улики и доказательства его самозванства, все его дела неистовые, измену Вере, государству и нашим обычаям, нравственность гнусную, осквернение храмов и святых обителей, расхищение древней казны царской, незаконное супружество и возложение венца Мономахова на польку некрещеную – изобразив сетование Москвы, как бы плененной сонмами ляхов, – их дерзость и насилия – Шуйский спрашивал, хотят ли россияне, сложив руки, ждать гибели неминуемой: видеть костелы римские на месте церкви православных, границу литовскую под стенами Москвы, и в самых стенах ее злое господство иноземцев? или хотят дружным восстанием спасти Россию и церковь, для коих он снова готов идти на смерть без ужаса?

Не было ни разгласия, ни безмолвия сомнительного: кто не принадлежал, тот пристал к заговору в сем сборище многолюдном, но единодушном силою ненависти к Самозванцу. Положили избыть расстригу и ляхов, не боясь ни клятвопреступления, ни безначалия: ибо Шуйский и друзья его, овладев умами, смело брали на свою душу, именем отечества, веры, духовенства, все затруднения людей совестных и смело обещали России царя лучшего. Условились в главных мерах. Градские сотники и пятидесятники ответствовали за народ, воинские чиновники за воинов, господа за слуг усердных. Богатые Шуйские имели в своем распоряжении несколько тысяч надежных людей, призванных ими в Москву из их собственных владений, будто бы для того, чтобы они видели пышность царской свадьбы. Назначили день и час; ждали, готовились – и хотя не было прямых доносов (ибо доносчики страшились, кажется, быть жертвою народной злобы): но какая скромность могла утаить движения заговора, столь многолюдного?

12 мая говорили торжественно, на площадях, что мнимый Дмитрий есть царь поганый: не чтит святых икон, не любит набожности, питается гнусными яствами, ходит в церковь нечистый, прямо с ложа скверного, и еще ни однажды не мылся в бане с своею поганою царицею; что он без сомнения еретик и не крови царской. Лжедмитриевы телохранители схватили одного из таких поносителей и привели во дворец: расстрига велел боярам допросить его; но бояре сказали, что сей человек пьян и бредит; что царю не должно уважать речей безумных и слушать немцев-наушников. Самозванец успокоился. В следующие три дня приметно было сильное движение в народе: разглашали, что Лжедмитрий для своей безопасности мыслит изгубить бояр, знатнейших чиновников и граждан; что 18 мая, в час мнимой воинской потехи вне Москвы, на лугу сретенском, их всех перестреляют из пушек;

что столица российская будет добычею ляхов, коим Самозванец отдаст не только все дома боярские, дворянские и купеческие, но и святые обители, выгнав оттуда иноков и женив их на инокинях.

Москвитяне верили; толпились на улицах днем и ночью; советовались друг с другом и не давали подслушивать себя иноземцам, отгоняя их как лазутчиков, грозя им словами и взорами. Были и драки: уже не спуская гостям буйным, народ прибил людей князя Вишневецкого и едва не вломился в его дом, изъявляя особенную ненависть к сему пану, старшему из друзей расстригиных. Немцы остерегали Лжедмитрия и ляхов; остерегал первого и Басманов, один из россиян! Но Самозванец, желая более всего казаться неустрашимым и твердым на троне в глазах поляков, шутил, смеялся, искренно или притворно, и сказал испуганному воеводе Сендомирскому: «Как вы, ляхи, малодушны!», а послам Сигизмундовым: «Я держу в руке Москву и государство; ничто не смеет двинуться без моей воли».

В полночь, с 15 на 16 мая, схватили в Кремле шесть человек подозрительных: пытали их как лазутчиков, ничего не свести, и Лжедмитрий не считал за нужное усилить стражу во дворце, где находилось обыкновенно пятьдесят телохранителей; он велел другим быть дома в готовности на всякий случай; велел еще расставить стрельцов по улицам для охранения ляхов, чтобы успокоить тестя, докучавшего ему и Марине своею боязнию.

16 мая иноземцы уже не могли купить в гостином дворе ни фунта пороху и никакого оружия: все лавки были для них заперты. Ночью, накануне решительного дня, вкралось в Москву с разных сторон до восемнадцати тысяч воинов, которые стояли в поле, верстах в шести от города, и должны были идти в Елец, но присоединились к заговорщикам. Уже дружины Шуйского в сию ночь овладели двенадцатью воротами московскими, никого не пуская в столицу, ни из столицы; а Лжедмитрий еще ничего не знал, увеселяясь в своих комнатах музыкою. Самые поляки, хотя и не чуждые опасения, мирно спали в домах, уже ознаменованных для кровавой мести: россияне скрытно поставили знаки на оных, в цель удара.

Некоторые из панов имели собственную стражу, другие надеялись на царскую: но стрельцы, их хранители, или сами были в заговоре или не думали кровию русскою спасать иноплеменников противных. Ночь миновалась без сна для большей части москвитян: ибо градские чиновники ходили по дворам с тайным приказом, чтобы все жители были готовы стать грудью за церковь и царство, ополчились и ждали набата. Многие знали, многие и не знали, чему быть надлежало, но угадывали и с ревностью вооружались, чем могли, для великого и святого подвига, как им сказали. Сильнее, может быть, всего действовала в народе ненависть к ляхам; действовал и стыд иметь царем бродягу, и страх быть жертвою его безумия, и, наконец, самая прелесть бурного мятежа для страстей необузданных.

17 мая, в четвертом часу дня, прекраснейшего из весенних, восходящее солнце осветило ужасную тревогу столицы: ударили в колокол сперва у Св. Илии, близ двора гостиного, и в одно время загремел набат в целой Москве, и жители устремились из домов на Красную площадь с копьями, мечами, самопалами, дворяне, дети боярские, стрельцы, люди приказные и торговые, граждане и чернь. Там, близ лобного места, сидели бояре на конях, окруженные сонмом князей и воевод, в шлемах и латах, в полных доспехах, и представляя в лице своем отечество, ждали народа.

Стеклося бесчисленное множество людей, и ворота Спасские растворились: князь Василий Шуйский, держа в одной руке меч, в другой распятие, въехал в Кремль, сошел с коня, в храме Успения приложился к святой иконе Владимирской и, воскликнув к тысячам: «Во имя Божие идите на злого еретика!», указал им дворец, куда с грозным шумом и криком уже неслись толпы, но где еще царствовала глубокая тишина!

Пробужденный звуком набата, Лжедмитрий в удивлении встает с ложа, спешит одеться, спрашивает о причине тревоги: ему отвечают, что, вероятно, горит Москва; но он

слышит свирепый вопль народа, видит в окно лес копий и блистание мечей; зовет Басманова, ночевавшего во дворце, и велит ему узнать предлог мятежа. Сей боярин, духа твердого, мог быть предателем, но только однажды: изменив государю законному, уже стыдился изменить Самозванцу и, тщетно желав образумить, спасти легкомысленного, желал по крайней мере не разлучаться с ним в опасности.

Басманов встретил толпу уже в сенях: на вопрос его, куда она стремится? В несколько голосов кричат: «Веди нас к Самозванцу! Выдай нам своего бродягу!» Басманов кинулся назад, захлопнул двери, велел телохранителям не пускать мятежников и, в отчаянии прибежав к расстриге, сказал ему: «Все кончилось! Москва бунтует; хотят головы твоей: спасайся! Ты мне не верил!»

Вслед за ним ворвался в царские покои один дворянин безоружный, с голыми руками, требуя, чтобы мнимый сын Иоаннов шел к народу, дать отчет в своих беззакониях: Басманов рассек ему голову мечом. Сам Лжедмитрий, изъявляя смелость, выхватил бердыш у телохранителя Шварцгофа, растворил дверь в сени и, грозя народу, кричал: «Я вам не Годунов!» Ответом были выстрелы, и немцы снова заперли дверь; но их было только пятьдесят человек, и еще, во внутренних комнатах дворца, двадцать или тридцать поляков, слуг и музыкантов: иных защитников, в сей грозный час, не имел тот, кому накануне повиновались миллионы!



*К.Б. Венинг. Последние минуты Дмитрия Самозванца. 1879 г.*

Но Лжедмитрий имел еще друга: не находя возможности противиться силе силою, в ту минуту, когда народ отбивал двери, Басманов вторично вышел к нему – увидел бояр в толпе, и между ими самых ближних людей расстригиных: князей Голицыных, Михаила Салтыкова, старых и новых изменников; хотел их усомнить; говорил об ужасе бунта, вероломства, безначалия; убеждал их одуматься; ручался за милость царя.

Но ему не дали говорить много: Михаиле Татищев, им спасенный от ссылки, завопил: «Злодей! Иди в ад вместе с твоим царем!» – и ножом ударил его в сердце. Басманов испустил дух и мертвый был сброшен с крыльца... Судьба, достойная изменника и ревностного слуги злодейства, но жалостная для человека, который мог и не захотел быть честию России!

Уже народ вломился во дворец, обезоружил телохранителей, искал расстриги и не находил: дотоле смелый и неустрашимый, Самозванец, в смятении ужаса кинув свой меч, бежал из комнаты в комнату, рвал на себе волосы и, не видя иного спасения, выскочил из

палат в окно на житный двор – вывихнул себе ногу, разбил грудь, голову и лежал в крови. Тут узнали его стрельцы, которые в сем месте были на страже и не участвовали в заговоре: они взяли расстригу, посадили на фундамент сломанного дворца годуновского, отливали водою, изъевляли жалость.

Самозванец, омывая теплою кровию развалины Борисовых чертогов (где жило некогда счастье, и также изменило своему любимцу), пришел в себя: молил стрельцов быть ему верными, обещал им богатство и чины. Уже стеклося вокруг их множество людей: хотели взять расстригу; но стрельцы не выдавали его и требовали свидетельства царицы-инокини, говоря: «Если он сын ее, то мы умрем за него, а если царица скажет, что он Лжедмитрий, то волен в нем Бог». Сие условие было принято.

Мнимая мать Самозванцева, вызванная боярами из келий, торжественно объявила народу, что истинный Димитрий скончался на руках ее в Угличе; что она, как жена слабая, действием угроз и лести была вовлечена в грех бессовестной лжи: неизвестного ей человека назвала сыном, раскаялась и молчала от страха, но тайно открывала истину многим людям. Призвали и родственников ее, Нагих: они сказали то же, вместе с нею вниая пред Богом и Россию. Чтобы еще более удостоверить народ, Марфа показала ему изображение младенческого лица Димитриева, которое у нее хранилось и нимало не сходствовало с чертами лица расстригина.

Тогда стрельцы выдали обманщика, и бояре велели нести его во дворец, где он увидел своих телохранителей под стражею: заплакал и протянул к ним руку, как бы благодаря их за верность. Один из сих немцев, ливонский дворянин Фирстенберг, теснился сквозь толпу к Самозванцу и был жертвою озлобления россиян: его умертвили; хотели умертвить и других телохранителей, но бояре не велели трогать сих честных слуг – и в комнате, наполненной людьми вооруженными, стали допрашивать Лжедмитрия, покрытого бедным рубищем: ибо народ уже сорвал с него одежду царскую.

Шум и крик заглушали речи, слышали только, как уверяют, что расстрига на вопрос «Кто ты, злодей?» отвечал: «Вы знаете: я – Димитрий» – и ссылаясь на царицу-инокиню. Слышали, что князь Иван Голицын возразил ему: «Ее свидетельство уже нам известно: она предает тебя казни». Слышали еще, что Самозванец говорил: «Несите меня на лобное место: там объявлю истину всем людям».

Нетерпеливый народ ломился в дверь, спрашивая, винится ли злодей? Ему сказали, что винится – и два выстрела прекратили допрос вместе с жизнью Отрепьева. (Его убили дворяне Иван Воейков и Григорий Волуев.) Толпа бросилась терзать мертвого; секли мечами, кололи труп бездушный и кинули с крыльца на тело Басманова, восклицая: «Будьте неразлучны и в аде! Вы здесь любите друг друга!»

Яростная чернь схватила, извлекла сии нагие трупы из Кремля и положила близ лобного места: расстригу на столе, с маскою, дудкою и волынкою, в знак любви его к скоморошеству и музыке; а Басманова на скамье, у ног расстригиных.



*М.О. Микешин.* Пленение Марины Мнишек. 1860 г.

Совершив главное дело, истребив Лжедмитрия, бояре спасли Марину. Изумленная тревогою и шумом – не имея времени одеться, спрашивая, что делается и где царь? Слыша наконец о смерти мужа, она в беспмятстве выбежала в сени: народ встретил ее, не узнал и столкнул с лестницы. Марина возвратилась в свои комнаты, где была ее польская гофмейстерина с шляхетками и где усердный слуга (именем Осмульский) стоял в дверях с обнаженною саблею: воины и граждане вломились, умертвили его, и Марина лишилась бы жизни или чести, если бы не приспели бояре, которые выгнали неистовых и, взяв, опечатав все достояние бывшей царицы, дали ей стражу для безопасности; не могли однако ж или не хотели унять кровопролития: убийства только начинались!

Еще при первом звуке набата воины окружили дома ляхов, заградили улицы рогатками, завалили ворота; а паны беспечно и крепко спали, так что слуги едва могли разбудить их – и самого воеводу Сендомирского, который лучше многих видел опасность и предостерегал зятя. Мнишек, сын его, князь Вишневецкий, послы Сигизмундовы, угадывая вину и цель мятежа, спешили вооружить людей своих; иные прятались или в оцепенении ждали, что будет с ними, и скоро услышали вопль: «Смерть ляхам!»

Пылая злобою, умертвив в Кремле музыкантов расстригиных, опустошив дом иезуитов, истерзав духовника Маринина, служившего Обедню, народ устремился в Китай и Белый город, где жили поляки, и несколько часов плавал в крови их, алчно наслаждаясь ужасною местию, противною великодушию, если и заслуженною. Сила карала слабость, без жалости и без мужества: сто нападало на одного! Ни оборона, ни бегство, ни моления трогательные не спасали: поляки не могли соединиться, будучи истребляемы в запертых домах или на улицах, прегражденных рогатками и копьями. Сии несчастные, накануне гордые, лобызали ноги россиян, требовали милосердия именем Божиим, именем своих невинных жен и детей; отдавали все, что имели – клялися прислать и более из отечества: их не слушали и рубили. Иссеченные, обезображенные, полумертвые еще молили о бедных остатках жизни: напрасно!

В числе самых жестоких карателей находились священники и монахи переодетые; они вопили: «губите ненавистников нашей веры!» Лилася и кровь россиян: отчаяние вооружало убиваемых, и губители падали вместе с жертвами. Не тронув жилища послов Сигизмундо-

вых, народ приступал к домам Мнишков и князя Вишневецкого, коих люди защищались и стреляли в толпы из окон: уже москвитяне везли пушки, чтобы разбить сии дома в щепы и не оставить в них ни одного человека живого; но тут явились бояре и велели прекратить убийства. Мстиславский, Шуйские скакали из улицы в улицу обуздывая, умиряя народ и всюду рассылая стрельцов для спасения ляхов, обезоруженных честным словом боярским, что жизнь их уже в безопасности. Сам князь Василий Шуйский успокоил и спас Вишневецкого, другие Мнишка.

Именем Государственной думы сказали послам Сигизмундовым, что Лжедмитрий, обманув Литву и Россию, но скоро изобличив себя делами неистовыми, казнен Богом и народом, который в самом беспорядке и смятении уважил священный сан мужей, представляющих лицо своего монарха, и мстил единственно их наглым единоземцам, приехавшим злодействовать в Россию. Сказали воеводе Сендомирскому: «Судьба царств зависит от Всевышнего, и ничто не бывает без его определения: так и в сей день совершилась воля Божия: кончилось царство бродяги, и добыча исторгнута из рук хищника! Ты, его опекун и наставник – ты, который привел обманщика к нам, чтобы возмутить Россию мирную – не достоин ли такой же казни? Но хвались счастьем: ты жив и будешь цел; дочь твоя спасена – благодари Небо!»



*К.Е. Маковский. Смутное время на Руси. Убийство Лжедмитрия*

Ему позволили видеться с Мариною во дворце, и без свидетелей: не нужно было знать, что они могли сказать друг другу в своем злополучии! Воевода Сендомирский шел к ней и назад сквозь ряды мечей и копий, обогранных кровию его соотечественников; но москвитяне смотрели на него уже более с любопытством, нежели с яростию: победа укротила злобу.

Еще смятение продолжалось несколько времени; еще из слобод городских и ближних деревень стремилось множество людей с дрекольем в Москву на звук колоколов; еще гра-

били имение литовское, но уже без кровопролития. Бояре не сходили с коней и повелевали с твердостью; дружины воинские разгоняли чернь, везде охраняя ляхов как пленников.

Наконец, в 11 часов утра, все затихло. Велели народу смириться, и народ, утомленный мятежом, спешил домой отдыхать и говорить в семействах о чрезвычайных происшествиях сего дня, незабвенного для тех, которые были свидетелями его ужасов: «В течение семи часов, пишут они, мы не слышали ничего, кроме набата, стрельбы, стука мечей и крика: секи, руби злодеев! Не видали ничего, кроме волнения, бегания, скакания, смертоубийства и мятежа».

Число жертв простиралось за тысячу, кроме избитых и раненых; но знатнейшие ляхи остались живы, многие в рубашках и на соломе. Чернь ошибкою умертвила и некоторых россиян, носивших одежду польскую в угодность Самозванцу. Немцев щадили; ограбили только купцов аугсбургских, вместе с миланскими и другими, которые жили в одной улице с ляхами. Сей для человечества горестный день был бы еще несравненно ужаснее, по сказанию очевидцев, если бы ляхи остереглись, успели соединиться для отчаянной битвы и зажгли город, к несчастию Москвы и собственному: ибо никто из них уже не избавился бы тогда от мести россиян; следственно беспечность ляхов уменьшила бедствие.

До самого вечера москвитяне ликовали в домах или мирно сходились на улицах поздравлять друг друга с избавлением России от Самозванца и поляков, хвалились своею доблестью и «не думали» (говорит летописец) «благодарить Всевышнего: храмы были затворены!» Радуюсь настоящему, не тревожились о будущем – и после такого бурного дня настала ночь совершенно тихая: казалось, что Москва вдруг опустела; нигде не слышно было голоса человеческого: одни любопытные иноземцы выходили из домов, чтобы удивляться сей мертвой тишине города многолюдного, где за несколько часов пред тем все кипело яростным бунтом. Еще улицы дымились кровию, и тела лежали грудями; а народ покоился как бы среди глубокого мира и непрерывного благоденствия – не имея царя, не зная наследника – опятнав себя двукратною изменою и будущему венценосцу угрожая третьей!

Но в сем безмолвии бодрствовало властолюбие с своими оболъщениями и кознями, устремляя алчный взор на добычу мятежа и смертоубийства: на венец и скипетр, обгаренные кровию двух последних царей. Легко было предвидеть, кто возьмет сию добычу, силою и правом. Смелейший обличитель Самозванца, чудесно спасенный от казни и еще бесстрашный в новом усилии низвергнуть его; виновник, герой, глава народного вооружения, князь от племени Рюрика, Св. Владимира, Мономаха, Александра Невского; второй боярин местом в Думе, первый любовью москвитян и достоинствами личными, Василий Шуйский мог ли еще остаться простым царедворцем и после такой отваги, с такою знаменитостию, начать новую службу лести пред каким-нибудь новым Годуновым?

Но Годунова не было между тогдашними вельможами. Старейший из них, князь Федор Мстиславский, отличаясь добродушием, честностию, мужеством, еще более отличался смиреннием или благоразумием; не хотел слышать о державном сане и говорил друзьям: «Если меня изберут в цари, то немедленно пойду в монахи». Сказание некоторых чужеземных историков, что боярин князь Иван Голицын, имея многих знатных родственников и величався своим происхождением от Гедимина литовского, вместе с Шуйским искал короны, едва ли достойно вероятия, будучи несогласно с известиями очевидцев. Сообщник Басманова, коего обнаженное тело в сии часы лежало на площади, загладил ли измену изменою, предав юного Феодора, предав и Лжедмитрия? Не равняясь ни сановитостию, ни заслугами, мог ли равняться и числом усердных клеветов с тем, кто без имени царя уже начальствовал в день решительный для отечества, вел Москву и победил с нею?

Имея силу, имея право, Шуйский употребил и всевозможные хитрости: дал наставления друзьям и приверженникам, что говорить в синклите и на лобном месте, как действовать и править умами; сам изготовился, и в следующее утро, собрав Думу, произнес, как уверяют,

речь весьма умную и лукавую: славил милость Божию к России, возвеличенной самодержцами варяжского племени; славил особенно разум и завоевания Иоанна IV, хотя и жестокого; хвалился своею блестящею службою и важною государственною опытностию, приобретенною им в сие деятельное царствование; изобразил слабость Иоаннова наследника, злое властолюбие Годунова, все бедствия его времени и ненависть народную к святоубийце, которая была виною успехов Лжедмитрия и принудила бояр следовать общему движению.

«Но мы, – говорил Шуйский, – загладили сию слабость, когда настал час умереть или спасти Россию. Жалею, что я, предупредив других в смелости, обязан жизнью Самозванцу: он не имел права, но мог умертвить меня, и помиловал, как разбойник милует иногда странника. Признаюсь, что я колебался, боясь упрека в неблагодарности; но глас совести, веры, отечества, вооружил мою руку, когда я увидел в вас ревность к великому подвигу. Дело наше есть правое, необходимое, святое; оно, к несчастью, требовало крови: но Бог благословил нас успехом – следственно оно ему угодно!.. Теперь, избыв злодея, еретика, чернокнижника, должны мы думать об избрании достойного властителя. Уже нет племени царского, но есть Россия: в ней можем снова найти угасшее на престоле. Мы должны искать мужа знаменитого родом, усердного к Вере и к нашим древним обычаям, добродетельного, опытного, следственно уже не юного – человека, который, прияв венец и скипетр, любил бы не роскошь и пышность, но умеренность и правду, ограждал бы себя не копьями и крепостями, но любовью подданных; не умножал бы золота в казне своей, но избыток и довольствие народа считал бы собственным богатством. Вы скажете, что такого человека найти трудно: знаю; но добрый гражданин обязан желать совершенства, по крайней мере возможного, в государе!»

Все знали, видели, чего хотел Шуйский: никто не дерзал явно противиться его желанию; однако ж многие мыслили и говорили, что без Великой Земской думы нельзя приступить к делу столь важному; что должно собрать в Москве чины государственные из всех областей российских, как было при избрании Годунова, и с ними решить, кому отдать царство. Сие мнение было основательно и справедливо: вероятно, что и вся Россия избрала бы Шуйского; но он не имел терпения, и друзья его возражали, что время дорого; что правительство без царя как без души, а столица в смятении; что надобно предупредить и всеобщее смятение России немедленным вручением скипетра достойнейшему из вельмож; что где Москва, там и государство; что нет нужды в Совете, когда все глаза обращены на одного, когда у всех на языке одно имя...

Сим именем огласилась вдруг и Дума и Красная площадь. Не все избирали, но никто не отвергал избираемого – и 19 мая, во втором часу дня, звук литавр, труб и колоколов возвестил нового монарха столице. Бояре и знатнейшее дворянство вывели князя Василия Шуйского из Кремля на лобное место, где люди воинские и граждане, гости и купцы, особенно к нему усердные, приветствовали его уже как отца России... там, где еще недавно лежала голова Шуйского на плахе и где в сей час лежало окровавленное тело расстригино! Подобно Годунову изъявляя скромность, он хотел, чтобы синклит и духовенство прежде всего избрали архипастыря для церкви, на место лжесвятителя Игнатия. Толпы восклицали: «Государь нужнее патриарха для отечества!» и проводили Шуйского в храм Успения, в коем митрополиты и епископы ожидали и благословили его на царство. Все сделалось так скоро и спешно, что не только россияне иных областей, но и многие именитые москвитяне не участвовали в сем избрании – обстоятельство несчастное: ибо оно служило предлогом для измен и смятений, которые ожидали Шуйского на престоле, к новому стыду и бедствию отечества!

В день государственного торжества едва успели очистить столицу от крови и трупов: вывезли, схоронили их за городом. Труп Басманова отдали родственникам для погребения у церкви Николая Мокрого, где лежал его сын, умерший в юности. Тело Самозванца, быв три дня предметом любопытства и ругательств на площади, было также вывезено и схоронено

в убогом доме, за Серпуховскими воротами, близ большой дороги. Но Судьба не дала ему мирного убежища и в недрах земли.



*В.П. Верещагин.* Царь Василий Иоаннович Шуйский. 1606–1610 гг. «История государства Российского в изображении державных его правителей с кратким пояснительным текстом». 1896 г.

С 18 до 25 мая были тогда жестокие морозы, вредные для садов и полей: суеверие приписывало такую чрезвычайность волшебству расстриги и видело какие-то ужасные явления над его могилою: чтобы пресечь сию молву тело мнимого чародея вынули из земли, сожгли на Котлах и, смешав пепел с порохом, выстрелили им из пушки в ту сторону, откуда Самозванец пришел в Москву с великолепием! Ветер развеял бранные остатки злодея; но пример остался: увидим следствия!

Описав историю сего первого Лжедмитрия, должны ли мы еще уверять внимательных читателей в его обмане? Не явна ли для них истина сама собою в изображении случаев и деяний? Только пристрастные иноземцы, ревностно служив обманщику, ненавидя его истребителей и желая очернить их, писали, что в Москве убит действительный сын Иоаннов, не бродяга, а царь законный, — хотя россияне, казнив и бродягу, не могли хвалиться своим делом, соединенным с нарушением присяги: ибо святость ее нужна для целости гражданских обществ, и вероломство есть всегда преступление.

Недовольные укоризною справедливою, зложелатели России выдумали басню, украсили ее любопытными обстоятельствами, подкрепили доводами благовидными, в пищу умам наклонным к историческому вольнодумству, к сомнению в несомнительном, так что и в наше время есть люди, для коих важный вопрос о Самозванце остается еще нерешенным. Может быть, представив все главные черты истины в связи, мы дадим им более силы, если не для совершенного убеждения всех читателей, то по крайней мере для нашего собствен-

ного оправдания, чтобы они не укоряли нас слепую верою к принятому в России мнению, основанному будто бы на доказательствах слабых.

Выслушаем защитников Лжедмитриевой памяти. Они рассказывают следующее:

«Годунов, предприяв умертвить Дмитрия, за тайну объявил свое намерение царевичу медику, старому немцу, именем Симону, который, притворно дав слово участвовать в сем злодействе, спросил у девятилетнего Дмитрия, имеет ли он столько душевной силы, чтобы снести изгнание, бедствие и нищету, если Богу угодно будет искусить оными твердость его? Царевич отвечивал: имею; а медик сказал: в сию ночь хотят тебя умертвить. Ложась спать, обменяйся бельем с юным слугою, твоим ровесником; положи его к себе на ложе и скройся за печь: что бы ни случилось в комнате, сиди безмолвно и жди меня. Дмитрий исполнил предписание. В полночь отворилась дверь: вошли два человека, зарезали слугу вместо царевича и бежали. На рассвете увидели кровь и мертвого: думали, что убит царевич, и сказали о том матери. Сделалась тревога. Царица кинулась на труп и в отчаянии не узнала, что сей мертвый отрок не сын ее. Дворец наполнился людьми: искали убийц; резали виновных и невинных; отнесли тело в церковь, и все разошлись. Дворец опустел, и медик в сумерки вывел оттуда Дмитрия, чтобы спастись бегством в Украину, к князю Ивану Мстиславскому, который жил там в ссылке еще со времен Иоанновых. Через несколько лет доктор и Мстиславский умерли, дав совет Дмитрию искать безопасности в Литве. Сей юноша пристал к странствующим инокам; был с ними в Москве, в земле Волошской, и наконец явился в доме князя Вишневецкого».

Известно, что и сам расстрига приписывал свое чудесное спасение доктору; но сочинители сей басни не знали, что князь Иван Мстиславский умер иноком Кирилловской обители еще в 1586 году и что Иоанн никогда не ссылал его в Украину. Другие изобретатели называют медика-спасителя Августином, прибавляя, что он был из числа многих людей ученых, которые жили тогда в Угличе, и бежал с царевичем к Ледовитому морю, в пустынную обитель. Еще другие пишут, что сама царица, угадывая злое намерение Борисово, с помощью своего иноземного дворецкого (родом из Кельна), тайно удалила Дмитрия и в его место взяла иерейского сына.



*Исаак Масса. Убийство царевича Дмитрия в Угличе. Около 1611 года*

Все такие сказки основаны на предположении, что убийство совершилось ночью, когда злодеи могли не распознать жертвы: и в сем случае вероятно ли, чтобы слуги царицыны (не говорим о ней самой) и жители Углича, нередко выдав Димитрия в церкви, обманулись в убитом, коего тело пять дней лежало пред их глазами? Но царевич убит в полдень: кем? Злодеями, которые жили во дворце и не спускали глаз с несчастного младенца... И кто предал его на убиение? Мамка: от колыбели до могилы Димитрий был в руках у Годунова. Сии обстоятельства ясно, несомненно утверждены свидетельством летописцев и допросами целого Углича, сохраненными в нашем государственном архиве.

Если расстрига не был самозванец, то для чего же он, сев на престоле, не удовлетворил народному любопытству знать все подробности его судьбы чрезвычайной? для чего не объявил России о местах своего убежища, о своих воспитателях и хранителях в течение двенадцати или тринадцати лет, чтобы разрешить всякое сомнение? Никакою беспечною невозможно изъяснить столь важного упущения. Манифесты, или грамоты, Лжедимитриевы внесены в летописи, и даже подлинники их целы в архивах: следственно нельзя с вероятностью предположить, чтобы именно любопытнейшую из сих бумаг истребило время. Бродяга молчал, ибо не имел свидетельств истинных и думал, что, признанный царем, безопасно может не трудить себя вымыслом ложных. В Литве говорил он, что в спасении его участвовали некоторые вельможи и дьяки Щелкаловы: сии вельможи остались без известной награды и неизвестными для России; а Василий Щелкалов, вместе с другими опальными Борисова царствования, хотя и снова явился у двора, однако ж не в числе ближних и первых людей. Расстригу окружали не старые, верные слуги его юности, а только новые изменники: от чего и пал он с такою легкостью!

«Но царица-инокиня Марфа признала сына в том, кто назывался Димитрием?» Она же признала его и самозванцем: первым свидетельством, безмолвным, неоткровенным, выраженным для народа только слезами умиления и ласками к расстриге, невольная монахиня возвращала себе достоинство царицы; вторым, торжественным, клятвенным, в случае лжи мать предавала сына злой смерти: которое же из двух достовернее? И что понятнее, обыкновенная ли слабость человеческая или действие ужасное, столь неестественное для горячности родительской? Геройство знаменитой жены лигурийской, которая, скрыв сына от ярости неприятелей, на вопрос: где он? сказала: здесь, в моей утробе, и погибла в муках, не объявив его убежища – сие геройство, прославленное римским историком, трогает, но не изумляет нас: видим мать! Не удивились бы мы также, если бы и царица-инокиня, спасая истинного Димитрия, кинулась на копья москвитян с восклицанием: он сын мой! И ей не грозили смертью за правду: грозили единственно судом Божиим за ложь.

Слово царицы решило жребий того, кто чтит ее как истинную мать и делился с нею величием. Осуждая Лжедимитрия на смерть, Марфа осуждала и себя на стыд вечный, как участницу обмана – и не усомнилась: ибо имела еще совесть и терзалась раскаянием. Сколько людей слабых не впало бы в искушение зла, если бы они могли предвидеть, чего стоит всякое беззаконие для сердца!

Заметим еще обстоятельство, достойное внимания: Шуйский искал гибели Лжедимитрия и был спасен от казни неотступным молением царицы-инокини, с явную опасностью для ее мнимого сына, изобличаемого им в самозванстве: клеветник, изменник мог ли бы иметь право на такое ревностное заступление? Но спасение Героя истины умирало совесть виновной Марфы. К сему прибавим вероятное сказание одного писателя иноземного (находившегося тогда в Москве), что расстрига велел было извергнуть тело Димитриево из угличского Соборного храма и погребсти в другом месте, как тело мнимого иерейского сына, но что царица-инокиня не дозволила ему сделать того, ужасаясь мысли отнять у мертвого, истинного ее сына царскую могилу.

Возражают еще: «Король Сигизмунд не взял бы столь живого участия в судьбе обманщика, и вельможа Мнишек не выдал бы дочери за бродягу»; но король и Мнишек могли быть легковверны в случае обольстительном для их страстей: Сигизмунд надеялся дать россиянам царя-католика, взысканного его милостию, а воевода Сендомирский видеть дочь на престоле московском. И кто знает, что они действительно не сомневались в высоком роде беглеца? Удача была для них важнее правды.

Король не дерзнул торжественно признать Лжедмитрия истинным до его решительного успеха, и воевода Сендомирский, сделав только опыт, пожертвовав частию своего богатства надежде величия, оставил будущего зятя, когда увидел сопротивление россиян. Сигизмунд и Мнишек обманулись, может быть, не во мнении о правах, но единственно во мнении о счастии или благоразумии Самозванца, думав, что он удержит на голове венец, данный ему изменою и заблуждением: для того король спешил громогласно объявить себя виновником расстригина державства, и пан вельможный быть тестем царя, хотя бы и племени Отрепьевых. Похитителями в их силе и благоденствии гнушаются не страсти мирские, но только чистая совесть и добродетель уединенная.

Убедительнее ли и суждение тех друзей Лжедмитрия, которые говорят: «Войско, бояре, Москва не приняли бы его в цари без сильных доказательств, что он сын Иоаннов?» Но войско, бояре, Москва и свергнули его как уличенного самозванца: для чего верить им в первом случае и не верить в последнем? В обоих, конечно, действовало удостоверение, основанное на доказательствах; но люди и народы всегда могли ошибаться, как свидетельствует история... и самого Лжедмитрия!

Напомним читателям, что знаменитейший из клеветов и единственный верный друг расстриги в беседах искренних не скрывал его самозванства: такое важное признание слышал и сообщил потомству немецкий пастор Вер, который любил, усердно славил Лжедмитрия и клял россиян за убиение царя, хотя и не сына Иоаннова. Сей же очевидец тогдашних деяний предал нам следующие, не менее достопамятные свидетельства истины:

«1) Голландский аптекарь Аренд Клаузенд, быв сорок лет в России, служив Иоанну, Феодору, Годунову, Самозванцу и лично зная, ежедневно выдав Дмитрия во младенчестве, сказывал мне утвердительно, что мнимый царь Дмитрий есть совсем другой человек и не походит на истинного, имевшего смуглое лицо и все черты матери, с которою Самозванец нимало не сходствовал.

2) В том же уверяла меня ливонская пленница, дворянка Тизенгаузен, освобожденная в 1611 году, быв повивальною бабкою царицы Марии, служив ей днем и ночью, не только в Москве, но и в Угличе – непрестанно выдав Дмитрия живого, видева и мертвого.

3) Скоро по убиении Лжедмитрия выехал я из Москвы в Углич и, разговаривая там с одним маститым старцем, бывшим слугою при дворе Марии, заклинал его объявить мне истину о царе убитом. Он встал, перекрестился и так отвечивал: москвитяне клялися ему в верности и нарушили клятву: не хвалю их. Убит человек разумный и храбрый, но не сын Иоаннов, действительно зарезанный в Угличе: я видел его мертвого, лежащего на том месте, где он всегда игрывал. Бог судия князьям и боярам нашим: время покажет, будем ли счастливее».

В заключение упомянем о свидетельстве известного шведа Петрея, который был посланником в Москве от Карла IX и Густава Адольфа, лично зная Самозванца и пишет, что он казался человеком лет за тридцать; а Дмитрий родился в 1582 году и следственно имел бы тогда не более двадцати четырех лет от рождения.

Одним словом, несомнительные исторические и нравственные доказательства убеждают нас в истине, что мнимый Дмитрий был самозванец. Но представляется другой вопрос: кто же именно? Действительно ли расстрига Отрепьев? Многие иноземцы-современники не хотели верить, чтобы беглый инок Чудовской обители мог сделаться вдруг

мужественным витязем, неустрашимым бойцом, искусным всадником, и многие считали его поляком или трансильванцем, незаконным сыном Героя Батория, воспитанником иезуитов, утверждаясь на мнении некоторых знатных ляхов, и прибавляя, что он нечисто говорил языком русским: мнение явно несправедливое, когда современные донесения иезуитов к их начальству свидетельствуют, что они узнали его в Литве уже под именем Димитрия, и не католиком, а сыном греческой церкви.

Никто из россиян не упрекал Самозванца худым знанием языка нашего, коим он владел совершенно, говорил правильно, писал с легкостью и не уступал никакому дьяку тогдашнего времени в красивом изображении букв. Имея несколько подписей Самозванцевых, видим в латинских слабую, неверную руку ученика, а в русских твердую, мастерскую, кудрявый почерк грамотея приказного, каков был Отрепьев, книжник патриарший. Возражение, что келий не производят витязей, уничтожается историею его юности: одеваясь иноком, не вел ли он жизни смелого дикаря, скитаясь из пустыни в пустыню, учась бесстрашию, не боясь в дремучих лесах ни зверей, ни разбойников, и наконец быв сам разбойником под хоругвию козаков днепровских? Если некоторые из людей, ослепленных личным к нему пристрастием, находили в Лжедимитрии какое-то величие, необыкновенное для человека, рожденного в низком состоянии, то другие хладнокровнейшие наблюдатели видели в нем все признаки закоснелой подлости, не изглаженные ни обхождением с знатными ляхами, ни счастьем нравиться Мнишковой дочери.

С умом естественным, легким, живым и быстрым, даром слова, знаниями школьника и грамотея соединяя редкую дерзость, силу души и воли, Самозванец был однако ж худым лицедеем на престоле, не только без основательных сведений в государственной науке, но и без всякой сановитости благородной: сквозь великолепие державства проглядывал в царя бродяга. Так судили о нем и поляки беспристрастные.

Доселе мы могли затрудняться одним важным свидетельством: известный в Европе капитан Маржерет, усердно служив Борису и Самозванцу, видеv людей и происшествия собственными глазами, уверял Генрика IV, знаменитого историка де-Ту и читателей своей книги о Московской державе, что Григорий Отрепьев был не Лжедимитрий, а совсем другой человек, который с ним (Самозванцем) ушел в Литву и с ним же возвратился в Россию, вел себя непристойно, пьянствовал, употреблял во зло благосклонность его, и сосланный им за то в Ярославль, дожил там до воцарения Шуйского.

Ныне, отыскав новые современные предания исторические, изыскаем Маржеретово сказание обманом монаха Леонида, который назвался именем Отрепьева для уверения россиян, что Самозванец не Отрепьев. Царь Годунов имел способы открыть истину: тысячи лазутчиков ревностно служили ему не только в России, но и в Литве, когда он разведывал о происхождении обманщика. Вероятно ли, чтобы в случае столь важном Борис легкомысленно, без удостоверения, объявил Лжедимитрия беглецом чудовским, коего многие люди знали в столице и в других местах, следственно узнали бы и неправду при первом взоре на Самозванца? Наконец москвитяне видели Лжедимитрия, живого, мертвого, и все еще утвердительно признавали диаконом Григорием; ни один голос сомнения не раздался в потомстве до нашего времени.

Сего довольно. Приступаем к описанию дальнейших бедствий России, не менее чрезвычайных, не менее оскорбительных для ее чести, но уже подобных мрачному сновидению, – уже только любовных для народа, коему Небо судило временным уничижением достигнуть величия и который достиг оногo, загладив память слабости великодушным напряжением сил и память стыда необыкновенною славою.

## Царствование Василия Иоанновича Шуйского. 1606–1608 гг

Василий Иоаннович Шуйский, происходя в осьмом колене от Димитрия Суздальского, спорившего с Донским о великом княжестве, был внуком ненавистного олигарха Андрея Шуйского, казненного во время Иоанновой юности, и сыном боярина-воеводы, убитого шведами в 1573 году под стенами Лоде.

Если всякого венценосца избранного судят с большею строгостию, нежели венценосца наследственного; если от первого требуют обыкновенно качеств редких, чтобы повиноваться ему охотно, с усердием и без зависти: то какие достоинства, для царствования мирного и непрекословного, надлежало иметь новому самодержцу России, возведенному на трон более сонмом клеветов, нежели отечеством единокровным, вследствие измен, злодейств, буйности и разврата?

Василий, льстивый царедворец Иоаннов, сперва явный неприятель, а после бессовестный угодник и все еще тайный зложелатель Борисов, достигнув венца успехом кова, мог быть только вторым Годуновым: лицемером, а не Героем добродетели, которая бывает главною силою и властителем и народов в опасностях чрезвычайных. Борис, воцаряясь, имел выгоду: Россия уже давно и счастливо ему повиновалась, еще не зная примеров в крамольстве.

Но Василий имел другую выгоду: не был святоубийцею; обогранный единственно кровию ненавистною и заслужив удивление россиян делом блестящим, оказав в низложении Самозванца и хитрость и неустранимость, всегда пленительную для народа. Чья судьба в истории равняется с судьбою Шуйского? Кто с места казни восходил на трон и знаки жестокой пытки прикрывал на себе хламидою царскою? Сие воспоминание не вредило, но способствовало общему благорасположению к Василию: он страдал за отечество и веру!

Без сомнения уступая Борису в великих дарованиях государственных, Шуйский славился однако ж разумом мужа думного и сведениями книжными, столь удивительными для тогдашних суеверов, что его считали волхвом; с наружностью невыгодною (будучи роста малого, толст, несановит и лицом смугл; имея взор суровый, глаза красноватые и подслепые, рот широкий), даже с качествами вообще нелюбезными, с холодным сердцем и чрезмерною скупостию, умел, как вельможа, снискать любовь граждан, честною жизнью, ревностным наблюдением старых обычаев, доступностию, ласковым обхождением. Престол явил для современников слабость в Шуйском: зависимость от внушений, склонность и к легковерию, коего желает зломыслие, и к недоверчивости, которая охлаждает усердие. Но престол же явил для потомства и чрезвычайную твердость души Василиевой в борении с неодолимым Роком: вкусив всю горечь державства несчастного, уловленного властолюбием, и сведав, что венец бывает иногда не наградою, а казнию, Шуйский пал с величием в развалинах государства!



Царь Василий Иванович Шуйский

Он хотел добра отечеству, и без сомнения искренно: еще более хотел угодить россиянам. Видев столько злоупотреблений неограниченной державной власти, Шуйский думал устранить их и пленить Россию новостью важною. В час своего воцарения, когда вельможи, сановники и граждане клялись ему в верности, сам нареченный венценосец, к общему изумлению, дал присягу, дотоле не слыханную: 1) не казнить смертью никого без суда боярского, истинного, законного; 2) преступников не лишать имущества, но оставлять его в наследие женам и детям невинным; 3) в изветах требовать прямых явных улик с очей на очи и наказывать клеветников тем же, чему они подвергали виновных ими несправедливо.

«Мы желаем (говорил Василий), чтобы православное христианство наслаждалось миром и тишиною под нашею царскою хранительною властью» – и, велел читать грамоту, которая содержала в себе означенный устав, целовал крест в удостоверение, что исполнит его добросовестно. Сим священным обетом мыслил новый царь избавить россиян от двух ужасных зол своего века: от ложных доносов и беззаконных опал, соединенных с разорением целых семейств в пользу алчной казны; мыслил, в годину смятений и бедствий, дать гражданам то благо, коего не знали ни деды, ни отцы наши до человеколюбивого царствования Екатерины Второй. Но вместо признательности многие люди, знатные и незнатные, изъявили негодование и напомнили Василию правило, уставленное Иоанном III, что не государь народу, а только народ государю дает клятву.

Сии россияне были искренние друзья отечества, не рабы и не льстецы низкие: имея в свежей памяти грозы тиранства, еще помнили и бурные дни Иоаннова младенчества, когда власть царская в пеленах дремала: боялись ее стеснения, вредного для государства, как они думали, и предпочитали свободную милость закону. Царь не внял их убеждениям, действуя или по собственному изволению или в угодность некоторым боярам, склонным к аристократии, и чтобы блеснуть великодушием, торжественно обещал забыть всякую личную вражду, все досады, претерпенные им в Борисово время: ему верили, но недолго.

Отменив новости, введенные Лжедмитрием, и восстановив древнюю Государственную думу, как она была до его времени, Василий спешил известить всю Россию о своем воцарении и не оставить в умах ни малейшего сомнения о Самозванце: послали всюду чиновников знатных приводить народ к крестному целованию с обетом, не делать, не говорить и не мыслить ничего злого против царя, будущей супруги и детей его; велели, как обыкновенно, три дни звонить в колокола, от Москвы до Астрахани и Чернигова, до Тары и Колы, – молиться о здравии государя и мире отечества. Читали в церквах грамоты от бояр, царицы-инокини Марфы и Василия (именованного в сих бумагах потомком Кесаря Римского).

Описав дерзость, злодейства, собственное в том признание и гибель Самозванца, бояре величали род и заслугу Шуйского, спасителя церкви и государства. Марфа свидетельствовала Богом, что ее сердце успокоено казнию обманщика; а Василий уверял россиян в своей любви и милости беспримерной.

Обнародовали найденную во внутренних комнатах дворца переписку Лжедмитрия с римским двором и духовенством о введении у нас латинской веры, запись, данную воеводе Сендомирскому на Смоленск и Северскую землю, также допросы Мнишка и Бучинских, Яна и Станислава: Мнишек винился в заблуждении, сказывая, что он и сам уже не мог считать мнимого Дмитрия истинным, приметив в нем ненависть к России, и для того часто впадал в болезнь от горести. Бучинские объявляли, что расстрига действительно хотел с помощью ляхов умертвить 18 мая, на лугу Сретенском, двадцать главных бояр и всех лучших москвитян; что пану Ратомскому надлежало убить князя Мстиславского, Тарлу и Стадницким Шуйских; что ляхи должны были занять все места в Думе, править войском и государством: свидетельство едва ли достойное уважения, и если не вымышленное, то вынужденное страхом из двух малодушных слуг, которые, желая спасти себя от мести россиян, не боялись клеветать на пепел своего милостивца, развеянный ветром! Современники верили; но трудно убедить потомство, чтобы Лжедмитрий, хотя и нерассудительный, мог дерзнуть на дело ужасное и безумное: ибо легко было предвидеть, что бояре и москвитяне не дали бы резать себя как агнцев, и что кровопролитие заключилось бы гибелию ляхов вместе с их главою.

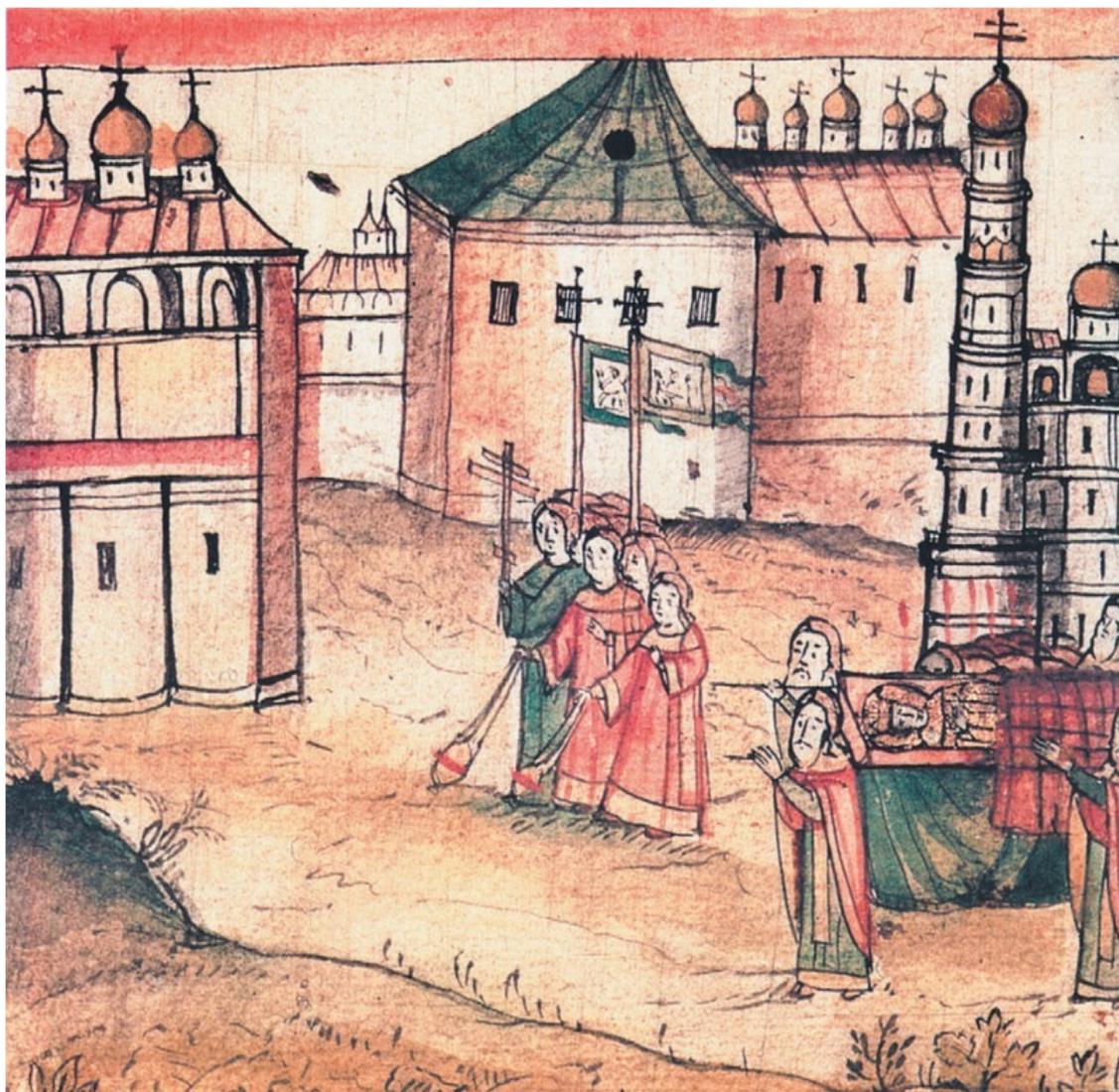
Июня 1 совершилось царское венчание в храме Успения, с наблюдением всех торжественных обрядов, но без всякой расточительной пышности: корону Мономахову возложил на Василия митрополит новгородский. Синклит и народ славили венценосца с усердием; гости и купцы отличались щедростию в дарах, ему поднесенных.

Являлось однако ж какое-то уныние в столице. Не было ни милостей, ни пиров; были опалы. Сменили дворецкого, князя Рубца-Мосальского, одного из первых клятвопреступников Борисова времени, и велели ему ехать воеводою в Корелу, или Кексгольм; Михайлу Нагому запретили именоваться конюшим, желая ли навеки уничтожить сей знаменитый сан, чрезмерно возвышенный Годуновым, или единственно в знак неблаговоления к злопамятному страдальцу Василиева криводушия в деле о Дмитриевом убиении; великого секретаря и подскарбия, Афанасия Власьева, сослали на воеводство в Уфу как ненавистного приверженника расстригина; двух важных бояр, Михаила Салтыкова и Бельского, удалили, дав первому начальство в Иване-городе, второму в Казани; многих иных сановников и дворян, не угодных царю, тоже выслали на службу в дальние города; у многих взяли поместья.

Василий, говорит летописец, нарушил обет свой не мстить никому лично, без вины и суда. Оказалось неудовольствие; слышали ропот. Василий, как опытный наблюдатель тридцатилетнего гнусного тиранства, не хотел ужасом произвести безмолвия, которое бывает знаком тайной, всегда опасной ненависти к жестоким властителям; хотел равняться в государственной мудрости с Борисом и превзойти Лжедмитрия в свободолюбии, отличать слово от умысла, искать в нескромной искренности только указаний для правительства и грозить мечом закона единственно крамольникам. Следствием была удивительная вольность в суждениях о царе, особенная величавость в боярах, особенная смелость во всех людях чиновных; казалось, что они имели уже не государя самовластного, а полуцаря.

Никто не дерзнул спорить о короне с Шуйским, но многие дерзали ему завидовать и порочить его избрание как незаконное. Самые усердные клеветы Василия изъявляли негодование: ибо он, доказывая свою умеренность, беспристрастие и желание царствовать не для клеветов, а для блага России, не дал им никаких наград блестящих в удовлетворении их суетности и корыстолюбия. Заметили еще необыкновенное своевольство в народе и шатость в умах: ибо частые перемены государственной власти рождают недоверие к ее твердости и любовь к переменам: Россия же в течение года имела четвертого самодержца, праздновала два царевубийства и не видала нужного общего согласия на последнее избрание. Старость Василия, уже почти шестидесятилетнего, его одиночество, неизвестность наследия также производили уныние и беспокойство. Одним словом, самые первые дни нового царствования, всегда благоприятнейшие для ревности народной, более омрачили, нежели утешили сердца истинных друзей отечества.

Между тем, как бы еще не полагаясь на удостоверение россиян в самозванстве расстриги, Василий дерзнул явлением торжественным напомнить им о своих лжесвидетельствах, коими он, в угодность Борису, затмил обстоятельства Дмитриевой гибели: царь велел святителям, Филарету Ростовскому и Феодосию Астраханскому с боярами князем Воротынским, Петром Шереметевым, Андреем и Григорием Нагими, перевезти в Москву тело Дмитрия из Углича, где оно, в господствование Самозванца, лежало уединенно в опальной могиле, никем не посещаемой: иереи не смели служить панихид над нею; граждане боялись приблизиться к сему месту, которое безмолвно уличало мнимого Дмитрия в обмане.



Перенесение мощей царевича Дмитрия из Углича в Москву. Миниатюра Лицевого летописного свода. XVI в.

Но падение обманщика возвратило честь гробу царевича: жители устремились к нему толпами: пели молебны, лили слезы умиления и покаяния, лучше других россиян знав истину и молчали против совести. Когда святители и бояре московские, прибыв в Углич, объявили волю государеву, народ долго не соглашался выдать им драгоценные остатки юного мученика, взывая: «Мы его любили и за него страдали! Лишенные живого, лишимся ли и мертвого?»

Когда же, вынув из земли гроб и сняв его крышку, увидели тело, в пятнадцать лет едва поврежденное сыростию земли: плоть на лице и волосы на голове целые, равно как и жемчужное ожерелье, шитый платок в левой руке, одежду также шитую серебром и золотом, сапожки, горсть орехов, найденных у закланного младенца в правой руке и с ним положенных в могилу: тогда, в единодушном восторге, жители и пришельцы начали славить сие знамение святости – и за чудом следовали новые чудеса, по свидетельству современников: недужные, с верою и любовью касаясь мощей, исцелялись.

Из Углича несли раку [3 июня], перемежаясь, люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы: Василий, царица-инокиня Марфа, духовенство, синклит, народ встретили ее за городом; открыли мощи, явили их нетление, чтобы утешить верующих и сомкнуть уста неверным. Василий взял святое бремя на рамена свои и нес до церкви Михаила Архангела,

как бы желая сим усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве! Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенство, всех россиян простить ей грех согласия с Лжедмитрием для их обмана – и святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно, из уважения к ее супругу и сыну.

Народ исполнился умиления, и еще более, когда церковь огласилась радостными кликами многих людей, вдруг излеченных от болезней действием веры к мощам Дмитриевым, как пишут очевидцы. Хотели предать земле сии святые остатки и раскопали засыпанную могилу Годунова, чтобы поставить в ней гроб его жертвы, в пределе, где лежат царь Иоанн и два сына его; но благодарность исцеленных и надежда болящих убедили Василия не скрывать источника благодати: вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому Угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедмитриеву.

Еще церковь не имела патриарха: в самый первый день Василиева царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву, – одели в черную рясу и заперли в келиях Чудова монастыря; Иов же, в печали, в слезах лишаась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедмитрием и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанной несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостию Самозванца, не уstraшенный опалою за ревность к православию, казался Героем церкви и был единодушно, единогласно наречен патриархом, – нетерпеливо ожидаем и немедленно посвящен, как скоро прибыл из Казани в столицу, собором наших епископов. Царь, с любовью вручая Ермогену жезл Св. Петра митрополита, и Ермоген, с любовью благословляя царя, заключили искренний, верный союз церкви с государством, но не для их мира и счастья!



Патриарх Гермоген. Миниатюра из «Царского титулярника». 1672 г.

Утвердив себя на престоле великодушным обетом блюсти закон, всенародным оправданием казни расстригиной, своим царским венчанием, торжеством Димитриевой святости, избранием патриарха ревностного и мужественного духом, – поставив войско на берегах Оки и в Украине, велев надежным чиновникам осмотреть его и воеводам ждать царского указа, чтобы идти для усмирения врагов, где они явятся, – Василий немедленно занялся делами внешними.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.